В.П.Желиховская

Мое отрочество
Из детских воспоминаний[1]

Часть первая

I
Первое горе

Мне было всего семь лет, когда умерла моя мать[2]. Мы тогда жили в Одессе, куда она приехала лечиться, оставив отца[3] нашего в Малороссии, где он командовал батареей конной артиллерии. Туда же, в Одессу, приехали из Саратова все наши родные: дедушка, бабушка, две тети – Катя и Надя[4], которая была всего на три года старше моей сестры Лели[5], и дядя наш, Ростислав[6], только что произведенный в офицеры, артиллерист.

Я очень любила маму, но смерть ее, вначале, меня не огорчила, а только озадачила... Я никак не могла понять, что это такое... Что с ней случилось?..

Я никогда прежде не видывала умерших...

Мне велели поцеловать ее руку. Я поцеловала, но, помню, с таким чувством, будто целую что-то чужое, постороннее мне, а совсем не маму. Мне казалось, что моя милая, дорогая мама, над которой я так часто плакала, зная, что она больна, которая еще вчера меня ласкала, глядя с такой любовью на всех нас троих, – куда-то ушла, на время, ненадолго... Что *это все* пройдет, она возвратится, и снова мы будем жить по-прежнему!.. Я отнюдь не понимала, что *прежнее* – кончилось! Что *нет его* больше и вновь не бывать, и моей мамы *больше нет*!..

И слава Богу, что я не сразу поняла это. Я была спокойной и не затрудняла собой бедную бабушку, и Антонию[7], и тетей, которых, помню, мне было очень жаль, потому что они так горько плакали. Хотя я не совсем понимала их горе, но, видя их слезы, я сама плакала с ними... Плакала, а одним глазком все же заглядывала с интересом на все, что происходило в зале, где положили *то*, в чем я никак не хотела и не могла признать своей матери. Меня занимала суета в доме, множество

Публикуется по: *Желиховская В.П.* Мое отрочество. Из детских воспоминаний. СПб., 1893.

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова.

[1] Первая часть: *«Как я была маленькой»* издана Девриеном и продается во всех книжных магазинах. – *Примечание В.П.Желиховской.*

Девриен Альфред Федорович (1842–1920) – книгоиздатель.

[2] Ган Елена Андреевна (1814–1842) – писательница, мать Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской.

[3] Ган Петр Алексеевич (1798–1873) – офицер конной кавалерии, полковник в отставке (1845), управляющий Каменец-Подольской земской конюшней (1846–1848), Гродненский губернский почтмейстер (1851–1858); в браке с первой женой Е.А.Ган имел трех детей Елену (Е.П.Блаватская), Веру (В.П.Желиховская) и Леонида (Л.П.Ган); в браке со второй женой Аделаидой фон Ланг имел дочь Елизавету (Е.П.Шенгер, 1849–1913).

[4] Фадеев Андрей Михайлович (1789–1867) – государственный деятель, тайный советник (1858), управляющий конторой иностранных переселенцев (Екатеринослав, 1817–1834), член комитета иностранных поселенцев Южного края России (Одесса, 1834–1837), главный попечитель кочующих народов (Астрахань, 1837–1839), управляющий палатой государственных имуществ Саратова (1839–1841), гражданский губернатор Саратова (1841–1846), член Совета главного управления Закавказского края (Тифлис, с 1846 г.), управляющий экспедицией государственных имуществ при главном управлении Закавказского края (Тифлис, с 1850 г.); дед Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской.

Фадеева Елена Павловна (1788–1860) – ученый-естествоиспытатель, бабушка Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской.

Фадеева Надежда Андреевна (1829–1919) и Витте Екатерина Андреевна (1819–1898) – тети Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской, с конца 1860-х гг. проживали в Одессе.

[5] Семейное имя Е.П.Блаватской.

[6] Фадеев Ростислав Андреевич (1824–1883) – генерал-майор, военный историк, публицист, дядя Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской.

[7] Ближайший друг моей матери, моя воспитательница, не оставлявшая меня до самой смерти. – *Примечание В.П.Желиховской.*

Об Антонии Христиановне Кюльвейн (?–1850) см. в очерке В.П.Желиховской «Елена Андреевна Ган, писательница-романистка в 1835–1842 гг.» (Русская старина, 1887, №3).

людей, знакомых, приезжавших к нам, священники, служба «точно в церкви!», как я говорила старшей сестре Елене, – пение, свечи, цветы, примерка спешно шившихся нам черных платьев, – все это меня развлекало, не давая вникнуть в настоящий смысл происходившего.

Сознание нашей страшной потери, настоящее горе, пришли позже, после похорон.

Когда изгладились все одуряющие впечатления небывалых суеты и шума; когда мы возвратились с кладбища в словно опустелый дом; когда среди тяжкой печали и слезных ласк своих близких я оглянулась, словно ожидая чего-то... когда я тихонько пробралась в пустую спальню мамы и увидала, что не только нет ее там, а даже кровать, на которой лежа она в последнее время так часто меня ласкала, вынесена, – тогда только проявилось сознание, что нет моей мамы! нет – совсем, нигде!.. что мы ее там, далеко, опустили в землю и сами ее *зарыли*! – тогда только бросилась я на грудь своей родной «бабочки»[8] – маминой мамы, заливаясь слезами, отчаянно допрашивая всех: что ж *это* значит? Зачем мы это сделали?.. Где моя мамочка?!.

Вот когда я поняла их слезы, значение их великого горя и затосковала по ней, по моей исчезнувшей, навеки потерянной матери.

Долго никакие старания старших не могли меня успокоить. Я все хотела, чтоб моя мама возвратилась, и не могла понять, на что она Богу?.. Мне говорили, что «Бог ее взял – призвал ее к Себе!!». Но зачем?!.

– Но зачем? – отчаянно кричала я. – Пусть отпустит ее назад! Пусть она с нами будет жить!

Ах! Какие ужасные наступили тут дни! Последние дни в Одессе, где я была так счастлива!.. Я так измучилась, скучая по маме, днем капризничая, а по ночам все пугаясь чего-то; то просыпаясь от страшных снов, а то от слез, что вот сейчас я видела маму – она была тут со мною, ласкала, целовала меня, а теперь, вот, нет ее опять! опять она ушла, – что, наконец, заболела. Сделался у меня жар и бред, и снова мерещился мне мой серый высокий монах, которого я с самого раннего детства всегда видала в болезненном бреду, и напрасно я гнала его прочь, сердясь и пугаясь его поднятой вверх руки...

Антонья знала уж, что мне всегда грезится во время бреда один и тот же «серый человек», которого я называла монахом; она успокаивала бабушку, проводя с ней надо мной дни и ночи, и только они вдвоем и могли меня успокоить.

Дальний путь из Одессы в Саратов лучше всяких лекарств меня вылечил и помог развлечься.

II
В гостях у калмыков

Уж не помню, каким путем мы ехали, но самое живое воспоминание мое об этой дороге – степи. Бесконечные, песчаные степи, жаркие, выжженные июльским солнцем. И они, вероятно, не остались бы в моей памяти, если б не особенное зрелище: мы целый день провели в улусе, в ставке калмыцкого князя Тюменя[9], где меня поразило много нового, невиданного прежде никогда, – потому и запомнилось живее.

Во-первых, в нашу тяжелую карету вдруг на одной станции вместо лошадей впрягли верблюдов. Пески были так глубоки, что колеса в них тонули по ступицу. Бедным лошадям не под силу стало тащить ее, и вот пришлось впрячь этих сильных громадных горбунов. Потащили они нас шаг за шагом, переваливаясь, неслышно переступая широкими, мягкими ступнями по рыхлому песку, а калмыки-погонщики вместо того, чтоб сидеть на козлах, бежали с боков или вскакивали к верблюдам на спины и дико вскрикивали, погоняя их.

Я с сестрой и двухлетним братом Леонидом[10] смотрели в окна кареты и забавлялись этим удивительным зрелищем, пока не стемнело и мы не уснули, убаюканные беззвучным колыханьем экипажа по бесконечным песчаным буграм.

---

[8] Семейное имя Е.П.Фадеевой.

[9] Тюмень Серебджаб (Сереб-Джап) (1774–1858) – калмыцкий князь, нойон Хошеутовского улуса, командир Второго Астраханского калмыцкого полка, участник Отечественной войны 1812 года, полковник (1816).

[10] Ган Леонид Петрович (1840–1885) – брат Е.П.Блаватской, мировой судья 2-го участка Ставропольского уезда (1869–1876), присяжный поверенный округа Тифлисской судебной палаты в Ставрополе (1881–1883), присяжный поверенный Тифлисского окружного судьи (1884–1885).

На другой день какой-то калмыцкий князь выехал к нам навстречу, кажется это и был сам Тюмень. Он очень просил, чтоб мы остановились в его улусе, – то есть кочевье, где были разбиты его палатки на летние месяцы, и отдохнули от долгого утомительного пути.

В те времена, когда не только железных дорог, но даже и простых шоссе нигде почти в России не бывало, такой путь в 2000 верст был действительно тяжел. Мы ехали в двух больших экипажах, а в случае дурной погоды, грязи или песков брали еще перекладную для вещей и людей. Теперь о таких путешествиях никто, кроме стариков, и понятия не может иметь!.. Все, в особенности мы, дети, рады были остановке.

Дедушка наш, А.М.Фадеев, прежде, нежели назначили его в Саратов губернатором, жил в Астрахани, где управлял кочующими народами – калмыками и киргизами. Он был добрый и справедливый человек, а потому все подчиненные его всегда сохраняли о нем добрую память и старались ему услужить, чем могли, когда бы ни приходилось с ним повстречаться. Потому-то калмыцкий князь и выехал нас встретить.

Вот въехали мы в улус и остановились у большой богатой кибитки – круглой, островерхой палатки из войлока на жердях и деревянной решетке, внутри обитой и устланной коврами, циновками и шелковыми тканями. Калмыки в халатах и круглых меховых шапках, калмычки в пестрых нарядах и их полуголые, желто-бурые калмычата гурьбами высыпали из всех кибиток, и нашу карету окружила целая толпа смуглых широколицых людей, любопытно засматривавших на нас.

Мы вошли вслед за князем и несколькими низко кланявшимися нам и радостно скалившими белые зубы калмыками в палатку, и я чуть не ахнула громко от удивления: белая тонкая скатерть была разостлана без стола, прямо на полу, поверх ковров. На ней были, вместо тарелок, расставлены пестрые глубокие чашки, вроде наших полоскательных; а перед каждой чашкой был постлан еще маленький коврик или же просто пестрый платок, и только пред некоторыми лежали подушки. На эти подушки князь Тюмень усадил старших, и мы все разместились как пришлось. Мне и есть ничего не хотелось, так занимало меня все происходившее. С одной стороны у меня села Антония, а с другой – Леля с Надей! Они тихонько пересмеивались и перешептывались; я же приставала к Антонии, как всегда, говоря с ней по-французски, – она так меня приучила, что по-русски к ней обращаться я решительно не умела!

– Послушайте! – шептала я ей. – Отчего у этих людей нет ни столов, ни стульев?.. Как они могут так жить?.. А еще такие богатые! Посмотрите, какие у них ковры, шали, серебро!.. Зачем они на полу обедают?

– Даже не на полу, а просто на земле! – засмеялась Антония. – В этих кибитках полов не бывает.

– Тем хуже!.. Как им не стыдно?.. Отчего они себе домов не построят? – негодовала я.

Но Антония Христиановна меня остановила, обещав, что после все о них расскажет; а теперь посоветовала мне есть отличный куриный суп, который нам всем налили в чашки. Я было собралась последовать ее совету, но вдруг Леля пригнулась ко мне и зашептала:

– Не ешь, Вера! Это лошадиный бульон!.. Калмыки ничего кроме лошадей не едят. Смотри! Смотри! Вон лошадиный глаз плавает!

Ложка, которую я было подняла ко рту, невольно опустилась назад в мою пеструю чашку, и я с отвращением смотрела то на суп, то на сестру.

Она хохотала, дергая за рукав тетю Надю.

Надя, хотя тоже смеялась и подтвердила, что калмыки едят конину, но сказала, что нам они ее не дадут… Однако, когда высокий калмык принес большой серебряный кувшин и начал разливать из него нам в стаканы что-то пенистое, белое, как оршад[11], – и она, и Антония, к которой я немедленно обратилась за разъяснениями, должны были сознаться, что это – *кобылье молоко*, кумыс. Этого было довольно, чтоб внушить мне окончательное недоверие к калмыцкому угощению.

После обеда мужчины пошли с князем смотреть *хорул*, кумирню, калмыцкую церковь.

[11] Оршад (*фр.* Orgeat) – старинный молочный сироп, смесь миндального молока с сахаром и померанцевой водой (настоянной на флёрдоранже). Иногда вместо померанцевой шла в ход розовая вода. Помимо миндаля, в старину для получения напитка использовались зерна ячменя (*фр.* orge), чем и объясняется современное название.

Женщин туда не пускают, а потому мы остались в кибитке с несколькими калмычками, очень богато одетыми в яркие шелка, в бархатные и парчовые опушенные мехом шапочки и со множеством монет и всяких побрякушек на груди, на черных волосах и на руках. Мы их рассматривали, как и все, что было в палатке, и они нисколько не стеснялись нашим любопытством.

Вообще в парадной кибитке князя Тюменя было много интересных вещей, и я, без всякой жалости к спокойствию бабушки, которая прилегла отдохнуть, и к другим, приставала ко всем, требуя разъяснения: что за люди – калмыки? Зачем они не живут в настоящих домах?.. Зачем обедают без столов и стульев, сидя на корточках?.. На что носят косички и серьги в ушах, как женщины?.. Что такое *хорул, кумирня*, куда пошел «папа большой» (так мы с сестрой называли дедушку) и почему нам туда идти нельзя?

III
Калмыцкие верования

Бабушка по обыкновению все объясняла мне терпеливо, несмотря на протесты Антонии, охранявшей ее покой.

Я узнала, что калмыки, киргизы и все кочевые народы оттого не имеют мебели, что постоянно переходят с места на место со своими стадами и табунами лошадей и верблюдов, ища для них свежей травы, хороших пастбищ; а сами привыкли так жить, не нуждаясь в удобствах, сидя и отдыхая прямо на земле... Хорулом или кумирней они называют свою церковь. Там стоят их *кумиры*, или бурханы, статуйки, изображающие их богов; они считают женщин – особенно не их веры и племени – недостойными видеть кумиров во всей их славе в храме их во время богослужения...

– Они думают, что нам довольно чести видеть их бурханов в кибитках. Вот, видишь там, в том маленьком красном шкапчике[12], стоит такой божок из раскрашенной глины! – указала мне бабушка. – Теперь он закрыт, но вот, погоди, его, верно, скоро откроют, тогда увидишь... Этих бурханов калмыки выписывают издалека, из Азии. Там, на границах Индии и Китая – Тибетские горы, где живет их Далай-Лама – царь и вместе их самое главное духовное лицо, как у католиков папа Римский. Там делают этих идолов; Далай-Лама их освящает молитвами и рассылает всюду своим единоверцам.

– А какому богу они веруют? – допрашивала я.

– Бог у всех народов – Один!.. Калмыки – выходцы из Азии; там многие народы монгольского племени, все китайцы, японцы, жители Кореи и острова Цейлона – буддисты, почитают пророком Будду, своего учителя, который жил гораздо ранее, чем Иисус Христос родился на земле. Он был очень умный и добродетельный человек и проповедовал очень чистое, нравственное учение...

– Так зачем же калмыки поклоняются каким-то куклам из глины? – прервала я.

– И даже очень уродливым куклам: с несколькими руками, с синими, красными и золотыми лицами! – засмеялась Леля. – Я ведь помню, у вас в Саратове в кабинете стоят бурханчики.

– Да, но не надо думать, что они им только поклоняются. Буддисты, как и мы, признают невидимого, всемогущего Бога, Создателя и Творца всего. А пророку своему – Будде выдумали очень некрасивую наружность, как и другим еще своим вымышленным божкам. Им молятся, кланяясь их изображениям и принося им дары, как мы молимся иконам.

– Какие дары?.. Подарки?.. Зачем им?

– А вот имей терпение... Вот нам дают чай, и ты сама сейчас увидишь! – отвечала бабушка, хорошо знавшая обыкновения калмыков.

В ожидании она указала мне на какой-то бочонок, окрашенный красной краской и узорами, точно надписями; он стоял возле шкафчика с их глиняным божком, на плоской стороне, а с другого конца у него торчала железная ручка, точно у кофейной мельницы.

– Это у них замечательный молитвенный аппарат, – засмеялась бабушка. – Внутри этого

[12] То же, что и шкаф.

бочонка длинный-предлинный лист бумаги, на котором написаны молитвы, наверчен на деревянный стержень, к которому приделана эта ручка. Если ручку вертеть вправо – лист разворачивается, а если влево – наворачивается опять на скалку... Так, по их мнению, что проговорить молитвы, что развернуть их – все равно!.. Вот, когда им лень в определенное время молиться или некогда, они подойдут и скоро-скоро завертят ручку: развернут и снова навернут молитвенный лист. И считают, что помолились!

– Дураки! – заявила я.

– И у нас есть такие же дураки! – вскричала Леля. – Разве не все равно, – что эту ручку вертеть, что бессмысленно бормотать себе под нос молитвы и вместе ссориться с горничными, бросаться на девчонок, чтоб им уши надрать или подзатыльник дать, как делает наша «баба Капка»?.. Такая молитва хуже калмыцкого верчения!

Все засмеялись.

«Бабой Капкой» прозвали в нашей дворне толстую маленькую ключницу Варвару, большую ворчунью, грозу молодых горничных и дворовых детей. Она была хорошая и честная, но нелепая женщина. И точно, на молитве, стоя пред иконами утром и вечером, она часто сама себя прерывала воркотней и нападками на горничных, чем только вызывала их смех, больше страха.

В это время тот самый высокий калмык, что разливал кумыс, внес на подносе чай, налитый в стаканы, а за ним шел другой, старый, маленький, толстый, точно наша баба Капка в Саратове, – с небольшим подносом, на котором было какое-то питье в маленьких пестрых чашечках.

– Смотрите, что он будет делать! – сказала бабушка, взяв стакан чаю.

Я тоже взяла стакан чаю, но чуть не пролила его, заглядевшись на маленького старика.

Он подошел к возвышению, покрытому пестрыми шелками, на котором стоял ящик в виде маленького шкафчика, выдвинул откуда-то цветные свечи, зажег их, а между ними поставил принесенные чашечки и, бормоча свои молитвы себе под нос, открыл две половинки дверец.

Мы увидали в шкафчике смешную толстую, почти голую фигурку, ярко раскрашенную красками. Она сидела, поджав ноги и расставив руки в обе стороны, оттопырив живот и толстые губы.

– Вот так бог! – невольно прошептала я.

– Не обижай их! – остановила меня бабушка, говоря по-французски. – Они ведь русский язык все понимают. Этот бурханчик еще не так уродлив. А вот есть у них главный божок – *Шиккамуни*[13] они зовут его – так тот даже страшный!.. Его рисуют окруженным пламенем. В хоруле пред ними всегда зажжены свечи, стоят цветы, а в чашках пшеница, масло и вода...

– Да на что же? Разве они думают, что эти кумирчики пьют и едят? – спросили мы.

– Уж не знаю... Может и думают! Они сами никогда ничего не едят и не пьют, не поставив и перед бурханами угощений.

Напившись чаю и мы пошли погулять с женами князей и калмыцких вельмож, которых еще пришло несколько. Они были разодеты в парчу, бархаты и золото так, что от тяжести шапок и монет едва могли повертывать головы. Особенно одна молодая, с узкими глазами и черными бровями, как пьявки[14], но румяная и хорошенькая, была великолепно одета. Нижнее платье было у нее из золотой парчи с красными бархатными цветами, а сверху голубой атласный халат. Она осталась в моей памяти, потому что всякую минуту отбрасывала длинные, черные, как змеи, косы вместе с откидными рукавами халата за спину и вся при этом звенела и бренчала. С нею был маленький калмычонок с черными, как уголь, глазенками, которые у него, как у волчонка, сердито бегали. Одна его ручонка не оставляла рукоятки кривого ножа, висевшего на поясе, а другою он все-таки держался за халат своей матери.

– Вот разоделись, чтоб нам понравиться, точно павы! – тихонько говорила Леля. – Мы пред ними совсем чумички[15]!

И в самом деле, наши черные ситцевые запыленные и перемятые в дороге платья казались хуже в соседстве с богатыми костюмами окружавших нас важных калмычек.

– А все же все эти оборванцы, – указала на вывалившую за ними толпу тетя Надя, – бегут,

[13] Будда Шакьямуни (563–483 до н.э) – духовный учитель, основатель буддизма.

[14] пиявки (*устар.*).

[15] Чумичка (*прост.*) – замарашка, грязнуха.

чтоб на нас посмотреть!

– А может, они на своих княгинь смотрят? – предположила я. – Они такие великолепные!

– Ну, вот еще выдумала! Они их всегда видят, а русские к ним редко приезжают, – возразила моя четырнадцатилетняя тетушка.

– Особенно такие русские гости, – важные, как наш папа большой! – не утерпела я прихвастнуть.

Мы прошлись по всему кочевью, мимо хорула, где как раз тогда калмыцкие священники, должно быть, вечерню служили: оттуда неслись такой звон и шум труб, рожков, колокольчиков и барабанного боя, что надо было заткнуть уши, чтоб не оглохнуть.

– Это они своего Шиккамуни веселят, – предположила я.

Я еще запомнила в калмыцком улусе ужасно страшных старух! Многие курили, сидя на корточках возле кибиток над разложенными кострами, на которых висели котелки с варевом; помешивая их, они дымили еще больше табаком, не выпуская коротеньких, кривых трубочек изо ртов. Они казались мне настоящими колдуньями! старыми ведьмами, ужасно страшными.

Солнце уже садилось, когда нам подали дорожные экипажи, опять запряженные верблюдами. Дедушка и бабушка благодарили князя Тюменя и его жену за гостеприимство; ласково простились со всеми и опять разместились в карете и потянулись по пескам, сопровождаемые долго целой толпою; в особенности усердно бежали за ними оборванные, полуголые детишки, потому что бабушка пригоршнями бросала им разные лакомства.

На другой день кончились, наконец, пески. В карету и тарантас запрягли лошадей, и скорая езда по хорошо убитой дороге нам показалась еще веселей, потому что Волга была уже близко, места оживились. Зазеленели кустарники, пошли рощи, деревни, поля, где шла уже жатва; все вокруг нас повеселело, и сами мы оживились близостью приезда, отдыха после трехнедельного пути. Я помнила хорошо Саратов, многих подруг своих и знакомых и особенно радовалась тому, что мы едем прямо на нашу милую дачу.

IV
Старые и новые друзья

Жизнь наша в Саратове вначале пошла грустно и очень тихо. Все мы были в трауре, и кто ни приезжал к нам, у всех были такие печальные лица и разговоры, что наводили еще пуще уныние. С иными гостями, близко знавшими маму и ее любившими, как родственник ее, Евгений Иванович[16], как Марья Семеновна Жукова[17], Надежда Михайловна Бер[18] и наш добрый доктор, Николай Фомич Троицкий[19], бабушка подолгу беседовала и плакала о ней вместе с ними. С сыновьями m-me Бер, особенно с старшим, Мишей[20], и я с братом Леонидом были большие друзья. Жукову я очень любила за то, что она чудесно рисовала цветы; после уж я узнала, что она была известная в то время писательница, как моя мать, и читала ее повести и путевые очерки с большим удовольствием[21].

Евгений Иванович мне особенно памятен, что всегда называл меня своей королевой; величал «Ваше Величество» и упорно уверял, что он мой «паж».

У нас, детей, в Саратове было столько маленьких друзей и знакомых, и все они так горячо сочувствовали нашему горю, так нас окружили, целыми партиями приезжая на дачу, что наша милая роща, когда все мы рассыпались по ней в играх и беготне, и тогда очень напоминала то, во что ее превратили двадцать лет спустя: в девичий пансион[22]. Мои личные друзья были: Вера, Клавдия и Юлия Гречинские, толстенькая Катя Полянская, Лиза Гуськова, две сестры Еремины,

[16] Васильев Евгений Иванович – губернский секретарь в Саратове.

[17] Жукова Мария Семеновна (1804–1855) – писательница.

[18] Бер Надежда Михайловна (урожд. Протасьева, 1804–1894) – жена врача Николая Ивановича Бера (1803–1878), исполнявшего должность окружного начальника государственных имуществ и бывшего в подчинении А.М.Фадеева.

[19] Троицкий Николай Фомич (1810–1849) – доктор медицины.

[20] Бер Михаил Николаевич (1841–1889) – губернский секретарь Рязанской губернии.

[21] «Путешествие по Южной Франции», «Вечера на Карповке» и пр. – *Примечание В.П.Желиховской.*

[22] Губернаторскую дачу позже перестроили для девичьего института. – *Примечание В.П.Желиховской.*

Катенька Зеллерт, дочь нашего учителя музыки, и множество других, не столько мной любимых за то, что они «важничали».

Все их важничание состояло в том, что эти девочки были старше меня или же родители их строже держали, как Бекетовых, дочерей предводителя дворянства[23], которых я считала «гримасницами» и упрекала, что они из себя корчат взрослых барышень...

Я была еще такая маленькая, что мне больше нравилось играть с шалуньями, вроде моей веселой Клавдии Гречинской, а не то и с мальчиками. Кроме Миши Бера, совсем еще крошечного, у меня вскоре оказался другой Миша, постарше.

Рядом с нашей дачей стоял большой старый каменный флигель, очень запущенный. Там вверху жил славный, всегда веселый, седенький старик, Михаил Михайлович Рос[лав]лев[24], а внизу много небогатых людей и между ними две хорошенькие швеи-сестры, Катя и Саша, которых почему-то называли «цыганками»... Я их запомнила потому, что они по вечерам отлично пели, играя на гитарах, что мне ужасно нравилось...

Должно быть и Михаил Михайлович любил их песни; мы с Надей и Лелей с нашего балкона, а он из открытого своего окна часто вместе слушали и аплодировали игре «цыганок». За это я его полюбила и раз насмешила всех, объявив ему, что хочу у Кати и Саши учиться петь и на гитаре играть; на что Антония мне посоветовала лучше идти гаммы свои на фортепиано твердить; но Рос[лавле]в объявил, что я «барышня-молодец!».

Старичок этот у нас бывал ежедневно, обедал и в карты иногда по вечерам играл. Бабушка сказала раз при мне, что «он бедный, жаль его!»...

Я, уж как водится, сейчас допрашивать; но на этот раз моя баловница «бабочка» недолгим рассказом меня порадовала. Только сказала, что у него жена и дети все, кроме одной дочери, умерли; что был он очень богатый, лучше и веселей всех жил, а теперь обеднел; живет на старости чуть ли не в холоде и в голоде.

– Но он всегда такой веселый! – дивилась я – Всегда французские песни поет! Анекдоты смешные рассказывает...

– А разве ты не знаешь пословицы: «нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет»? – смеясь, заметила бабушка и больше не захотела ничего про Рос[лавле]ва рассказывать.

«Ну, хорошо же! – подумала я. – Скажу Леле, и мы вместе его сами расспросим!»

Так я и сделала.

Раз пришел он к нам обедать; через рощу нашу прямо на балкон вошел. Туда обыкновенно все собирались перед обедом; но еще не было никого, дедушка еще не вышел, а потом все сидели по своим комнатам. Увидала я с верхнего балкона, что идет он, позвала Лелю и побежали к нему навстречу.

– Михаил Михайлович! – поздоровавшись, первая приступила сестра. – Вот Верочка хочет знать, почему бабочка наша вас бедным называет?

Рос[лав]лев удивленно приподнял брови и превесело отвечал:

– Да, верно, оттого, мои милые, что я не богат!

– А все говорят, что вы были очень богатый!

– Ну! Мало ли что было, – да сплыло!

– Зачем же вы в таком нехорошем старом доме живете? – решилась я прямо поставить вопрос.

– А! Это видишь ли, милушка, потому, что я и сам теперь старый да гадкий!.. А когда прежде я был молодой да красивый, так и дома себе всегда подбирал под стать: новые да хорошие!

– А правду про вас говорит старый князь Оболенский, будто вы три деревни в черепаховом супе съели, а четвертую в шампанском выпили? – осведомилась Леля.

---

[23] Бекетов Петр Иванович (1790–1846) – Саратовский губернский предводитель дворянства (1843–1846).

[24] Речь идет о Л.Я.Рославлеве.

«Лев Яковлевич Рославлев был человеком хорошо образованным и знавших несколько иностранных языков, а жена его принадлежала к лучшей дворянской фамилии. У Льва Яковлевича было около двух тысяч душ крестьян, которых он прожил и преимущественно проиграл в карты еще в тридцатых годах…» (*Шомпулев В.А.* Провинциальные типы сороковых годов // Русская старина, 1898, №8. С. 332–333).

Михаил Михайлович в такую гримасу сморщился, что я так и покатилась со смеху.

– Правда! Ох! Правда, дружочек, – съел! – отвечал он со вздохом. – И пил всласть и кушал... Да так-то хорошо, на всю жизнь накушался, что теперь, вот видишь ли, только одни косточки глодаю!

Тут тетя Катя вошла и прервала нашу интересную беседу.

Вот самый этот добродушный старичок раз объявил, что к нему едет дочь, Софья Михайловна Кар[ако]зова[25], с своим сыном, Мишей[26], что они у него прогостят до осени.

Сейчас же в его флигеле все поправили, устроили, приготовили, и через несколько дней приехала ожидаемая гостья. Мы с сестрой стояли на балконе и смотрели, как старик суетился и радовался свиданию с дочерью и внуком, когда они выходили из дорожной кареты.

Я после узнала, что дочь приглашала Рос[лав]лева жить с нею, но он сам не желал ее стеснять и ни за что не хотел никогда брать от нее помощи, находя, что ему решительно ничего не нужно, а только просил ее иногда его навещать.

Я очень подружилась с Мишей Кар[ако]зовым, так как он, живя рядом, мог со мною проводить целые дни.

V
Пороховые погребки

Миша был болезненный, тихий ребенок, страстно любивший сидеть где-нибудь тихонечко в уголке и слушать сказки. Я же была ужасная фантазерка и ничего так не любила, как представлять себе самые удивительные вещи и рассказывать о них так, чтоб меня никто не перебивал и внимательно слушал.

В последнее время Антония отказывалась быть моей поваренной. Она находила, что мне вредно давать волю воображению; что я слишком много «думаю», а гораздо бы лучше делала, если б больше занималась, да не книгами, а рукоделием, которое я, сказать по правде, терпеть не могла! Особенно вязание...

Как вспомню я одну красную шерстяную шапочку, которую она мне начала и велела связать для папы!..

Я тотчас согласилась, даже обрадовалась и написала папе своему, что скоро пришлю ему подарок... Но эта бедная шапочка вязалась, вязалась что-то года три, да так и пропала недовязанной, надоев мне так ужасно, что я на всю жизнь возненавидела вязание на спицах. Только я, бывало, размечтаюсь в рассказах, – Антония меня гонит:

– Ступайте скорее вязать! Вы никогда не кончите этой шапочки для папы!..

Так и напророчила, что я ее не довяжу никогда. А задумываться и потом с увлечением рассказывать о своих «думах» она начала мне запрещать с той поры, как я чуть себя до болезни не довела, думая и передумывая о том, как будет хорошо, если *вдруг* окажется, что мама моя совсем не умерла, а так, «где-нибудь пропадала», а после убежала от тех, кто ее у нас отнял, и возвратилась...

Я так много об этом думала, столько плакала над своими думами, так начала пугаться всего в постоянном ожидании ее возвращения, что Антонии пришлось прибегнуть к решительным мерам: не позволять мне чтений сказок, а в особенности разговоров с моими добрыми, но глупыми друзьями, дворовыми девочками – Саней, Дашей, Дуней и всей компанией. Все они были страшные охотницы слушать меня и мне самой рассказывать разные *«страшные истории»* о колдунах, ведьмах и привидениях.

Строгими мерами Антонии и няни Насти наши уединенные беседы с ними, беготня в рощу и к «пороховым погребкам» прекратились, и плохо бы мне пришлось, если бы не появился мне на утеху Миша.

«Пороховые погребки»!.. Одного названия этого довольно, чтоб вызвать множество

---

[25] Речь идет о Софье Львовне Каракозовой (ок. 1813–1848).

[26] Михайлов-Рославлев Михаил Михайлович (1834–1877) – саратовский губернский предводитель дворянства (1869–1873), первый председатель Саратовской губернской земской управы, основатель рода Михайловых-Рославлевых.

воспоминаний. «Погребки» эти возвышались на открытом поле невдалеке от дачи; пороху в них не было: они были давно заброшены. В этих отверстиях в уровень с землей, куда бывало мы со страхом заглядывали, ожидая всяких *«страхов»*, виднелись грязь, мусор, паутина, да разве в сумерки порою вылетали из них летучие мыши. Но какими чудесами – кладами, оборотнями, разбойниками ни населяли мы их[27]!.. Вся наша роща, все окрестности дачи были переполнены сказочными чудесами; но таких ужасов, как в «погребках», казалось мне, нигде не таилось… Я пользовалась всяким случаем, чтоб заглянуть в их черную, таинственную глубину.

Раз после обеда взрослые уехали в город, а у нас, детей, были гости. Старшие подруги мои с нашей четырнадцатилетней тетушкой Надеждой Андреевной и одиннадцатилетней сестрой моей во главе отправились гулять далеко; мы с Клавдией и Мишей оставались в палисаднике под присмотром старой няни Насти.

Старушка смотрела, смотрела, греясь на солнышке на ступеньке крыльца, да и задремала. Я сейчас, шепотом, предложила своим двум товарищам сбегать к пороховым погребкам.

Мы выскользнули в калитку и, взявшись за руки, бегом пустились к четырем земляным крышам, конусами возвышавшимся среди залитого лучами заходившего солнца поля.

Вот и *они*!.. Мы все трое едва переводили дух, упав на траву в тени, ложившейся четырьмя длинными треугольниками.

Кругом все было сонно и тихо, и мы молчали, прислушиваясь чутко, не слышно ль *там* какого-нибудь шума или звука?..

– Ну! Пойдемте, посмотрим *туда*! – прошептала я, вставая и стараясь быть совершенно спокойной.

С сильно бившимся сердцем я подошла к черневшему отверстию и перевесилась внутрь. Там было пусто, грязно и темно.

– Ничего особенного нет! – возвестила я. – Ямы совсем неглубокие... Можно туда спрыгнуть, если хотите.

– Спрыгнуть?!. – испуганно протянул наш не храбрый кавалер, уставив на меня свои черные, как бусы, выпученные глаза. – Ай, нет! Не прыгай.

– Отчего ж? – подсмеялась Клавдия. – А хочешь, мы тебя туда спустим? Ты мальчик! Тебе стыдно бояться!

– Ай, нет! Не хочу!.. Зачем?.. Там, может, волки!

– Ну, волки! Откуда? Станут тут волки прыгать... Волки в лесу! – убеждали мы…

Я отошла к другому погребу и заглянула... И там было пусто и сыро. Приглядевшись, я, однако, заметила под крышей в углах между балок что-то черное... Я взяла камешек, бросила и сама же в испуге отскочила: летучая мышь заметалась по углам, а внизу на земле заскакала жаба, испуганная моим камнем.

– Что там такое? – в испуге спросил Миша.

– Лягушки и... кажется сова! – прилгнула я.

– А посмотри, Верочка, что тут! – таинственно вскричала Клава, заглянув в третий погребок. – Посмотри, видишь, сколько костей. И, кажется, человеческие!

Сердце у меня всколыхнулось, но я храбро подошла.

Да! В самом деле, на дне этого погребка белелись большие разбросанные кости. Я задумчиво их осмотрела и, наконец, решила с глубокомысленным видом знатока:

– Да! Это человечьи кости. Это, знаете, наверное, разбойники!

– Где?! – закричал Миша, отскакивая от окна, будто разбойник уж за ним оттуда протягивал руки.

– Ну, трусишка! Чего прыгаешь?.. – хладнокровно заметила Клава. – Не верь! Это она сочиняет... Погляди – там лошадиный череп.

– Ну так что ж? Может, одна голова и лошадиная! – согласилась я. – Может, кто-нибудь ночью верхом ехал, разбойники и лошадь и человека убили, ограбили и бросили сюда. Здесь, наверное, ночью разбойники прячутся! – начала я выдумывать, да так уверенно, будто сама с

[27] Об одной экскурсии к этим погребкам я рассказала в детском журнале «Семья и школа» за 1887 год под заглавием *«Клад»*. *– Примечание В.П.Желиховской.*

этими разбойниками знакома. – Знаете, Даша мне говорила, что в этих погребах зарыты клады!

– Это что такое – клады? – спросил Миша.

– Клады? Не знаешь? – удивились мы с Клавой. – Это золото, деньги, много денег!.. Или брильянтов там, жемчугу... Разных драгоценностей, зарытых в бочках или так, просто.

– Моя кормилица говорила, что ее дед в деревне клад нашел, серебряные и золотые деньги в глиняной кубышке, – сказала Клавдия.

– Неужели здесь есть?.. Так отчего же их не выроют?

– Вот захотел! Ты думаешь, легко клады рыть?.. Ведь их стерегут разные черти!

– Ой! Какие черти? – опять ужаснулся Миша.

Он всегда был со своей мамой, а потому не мог наслышаться столько россказней и вздоров, как мы от наших дворовых девчонок, ключниц да горничных.

– Какой ты дурак, Мишка!.. Ничего не понимаешь!.. Вон баба Капка столько таких историй знает. Она говорит, что «к кладу надо приступать умеючи»! – заговорила я словами самой Варвары. – А то, если кто спроста начнет рыть, с ним сейчас что-нибудь сделается: или руки-ноги отымутся, или сам упадет – и умрет!

– Ну? Будто?..

– Право!.. Знаешь, как надо идти клад *брать*?.. Надо, *перво-наперво*, по полночному петушиному крику взять заступ и лопату и выйти за ворота, подойти к месту, засветить фонарь и ждать… Как только петух *во вторую стражу* воскрикнет, так сейчас заступом землю ударить!.. Тут от земли гул пойдет!.. Стон, стук, звон такие – что ужас!.. Если он не испугается, все будет рыть, – ему начнут разные страхи показываться...

– Какие? – шепотом воскликнул Миша и даже подпрыгнул и за мой рукав ухватился.

– Ну, разные там... Черти, змеи, ведьмы, мертвецы… Ужас, что такое!.. Зато, если он и тогда не испугается, а все будет рыть да рыть, – то как только петух опять пропоет, так сейчас в него из земли огонь! Огонь!.. А потом земля перед ним откроется, и он увидит лестницу. Сойдет он по этой лестнице, – а там комнаты все, залы, одна другой краше и все полны золота и *камней самоцветных*…

– Ну, вот уж нет! – заспорила Клавдия. – Как же можно? Какие там комнаты и богатства?.. Ты говоришь, когда петух в третий раз пропоет? Ну, а уж это кому неизвестно, что по третьему петушиному крику все страхи и колдовства исчезают!

– Ну, да! Я же и говорю: все пропадет и все богатства ему откроются. Он может тогда брать, сколько хочет, но и тут надо *особый норов* иметь: надо ровно столько брать, сколько донести можешь. Если больше возьмешь, чем снести можешь, да от тяжести будешь падать и домой до утренней звезды не дойдешь – все пропало! Весь клад у тебя *прахом-пылию* рассыпется, и хорошо еще, если живой до дому дотащишься, потому что вся *нечисть*, что клад стерегла, за тобою ведь гнаться будет.

– Кто такой? – тоскливо осведомился Миша.

– Ты опять?.. Ведь я сказала: черти, привидения!

– Мама говорить, что нет их!

– Как же! – бойко вмешалась Клавдия. – Моя нянька [своими] глазами домового на печке в бане видала!

– Конечно! *Многие* видели! – подтвердила я.

Солнце между тем уже село. Роща наша засинела; затуманились дальше луга за Волгой, и ночные кузнечики громче запели в траве.

– Пойдемте-ка домой! – запросился Миша. – Я чаю хочу!

– Молчи! Охота с собою этого маленького трусишку водить. Разве можно пятилетних ребят на прогулки брать? – важно укоряла меня Клавдия, которая была на год старше меня. – Так как ты думаешь, все-таки: чьи ж это кости?

Она все с большим любопытством заглядывала в окошко погребка.

– А кто знает? – важно отозвалась я. – Может быть их же... Тех, которые здесь кладов искали. Или, может быть, в самом деле – разбойники?.. Знаешь, ведь они, может быть, здесь и живут... Право!.. Приглядись: видишь, там в углу хворост?

– Вижу. Так что ж?

– Может, там прикрыта лестница? Ход в подземелье, где они прячутся... Помнишь, Миша, я тебе раз вечером с балкона на огонек здесь показывала?

– Помню!.. Пойдем домой! – чуть не ревел наш Мишенька.

– Ну, то-то же! Я говорю – может, разбойники здесь живут?..

В эту минуту в погребке раздался шелест, и большая летучая мышь, чуть не задев нас по волосам, прошмыгнула между моей и Клавдиной головой.

Мы, обе вскрикнув, отпрыгнули от окна, а Миша только этого и ждал: заревел благим матом и, спотыкаясь, вприпрыжку чрез кочки и бурьян побежал домой.

Мы за ним, его унимая, – но ведь страх заразителен! Чем дальше, тем скорее бежали мы, боясь оглянуться, сами себя пугая своим же топотом, воображая, что кто-то за нами гонится.

Добежав, еле переводя дух, мы так и свались на крыльцо и смеясь, и все еще боясь, сами не зная чего.

Разумеется, мы напали на всхлипывавшего Мишу; но, по правде, мы сами и его напугали, и перетрусили изрядно.

VI
На крыше и в роще

Миша Кар[ако]зов был почти на два года моложе меня и очень слабый, бледный ребенок. Я ему покровительствовала во всех наших прогулках, и он меня слушался. Я уж говорила, что любила рассказывать сказки своего собственного сочинения. Старшие над моими выдумками смеялись, а потому мы всегда с ним разыскивали укромные местечки в роще, или в чаще сиреней в нашем густом палисаднике, или же во рву, который перерезывал наши чудесные липовые аллеи и, все увеличиваясь, превращался в глубокий овраг, спускаясь к Волге. Этот цветущий овраг, поросший шиповником и лопухом, из-под которого били ключи, был свидетелем многих игр наших и всяких похождений. В постоянных розысках уединенных уголков, где бы нам никто не мешал, мы с ним даже забивались на чердак, а то еще поудивительнее находили убежища: придумали мы залезать на крышу!..

Дело в том, что на даче нашей был мезонин с двумя балконами в обе стороны, и балконы эти на аршин[28] были длиннее с обоих боков, чем стены мезонина; очень пологие боковые крыши упирались в них. Мы часто из шалости перебегали с одного балкона на другой через крыши, держась, конечно, поближе к стенке.

Это была очень глупая и небезопасная забава; но мы не думали о том, а пользуясь неведением старших, довольно часто путешествовали, как кошки, по крышам.

Мы, дети, жили в мезонине, потому могли во всякое время выходить на балконы и любоваться сверху рощей, Волгой, дальним селом Покровским за нею или полем, городом и Соколовыми горами.

Я еще до приезда своего маленького приятеля открыла, что очень приятно, взобравшись на крышу, сидеть, прижавшись к стенке мезонина, смотреть на блиставшую Волгу, на зеленые луга и *думать*... Придумывать самые удивительные происшествия на земле и *чудеса* там, в красивых облаках, расстилавшихся над рощей и полями в высоком небе.

Вместо Антонии, моей прежней слушательницы, от которой я теперь скрывала мои «думы», – нашелся мне внимательный слушатель, Миша Кар[ако]зов.

При первой возможности урваться мы с ним забирались на крышу; усаживались рядком и, глазея – я в пространство, а он, развесив уши и губы, на меня, – начинали свои сказки. Я рассказывала шепотом, чтоб нас не услышали, всякие небылицы, какие представлялись мне, так уверенно, что не только он, но и сама я верила, что рассказываю истинную правду.

Но наши заседания на крышах скоро были прекращены, благодаря моему разгильдяю-товарищу.

Миша имел удивительную способность все терять – платки, шляпы, кушаки[29]. Особенно

[28] Аршин – старорусская единица измерения длины, равная 0,71 м.

[29] Кушак – деталь одежды, пояс из широкого куска ткани или шнура.

кушаки. Он их и не развязывал, но они у него как-то слезали через ноги.

Вот и подвел он меня своим кушаком: посеял его, злодей, на крыше!.. Няня его стала искать, вышла на балкон, да и увидала, что он на крыше растянулся…

– Это что такое?.. Зачем ты кушак на крышу забросил?

– Да я его вовсе не забрасывал, а сполз он, верно, у меня, когда мы там с Верочкой сидели! – протянул мой негодный Мишка вялым голосом.

– Как так на крыше вы сидели? – набросилась на него няня. – Разве можно сидеть там, озорник ты эдакий!

– А что ж такое?.. Мы там часто сидим!

– Разве станет барышня по кровлям с тобой лазить? – еще хуже рассердилась няня. – Лгун ты, сударь! Стыдно!..

Хоть меня и разбирала досада, глядя на Мишу, как он стоял, руки расставив, глаза выпучив на няньку, но все же не могла я позволить бранить его напрасно лгуном. Я подтвердила, что мы *иногда* там сидим…

– На кровле-то? – рассмеялась няня. – Что вы, барышня! Ведь оттуда, не дай Господи! можно мимо балкона свалиться – и косточек не подберете!.. Что вы за игру по крышам выдумали?

– Да не игру совсем. Мы тихо сидим… так себе!

– Да что же так-то тебе? Что делать там?

– Да... *думать* там хорошо! – призналась я тихим шепотом.

– Ду-мать?! – всплеснула няня руками и покатилась со смеху. – Ну вот, поди ж ты! что только выдумают, озорники! И об чем же вы это раздумываете, на крыше сидючи, как коты, прости Господи!

Мы с Мишей переглянулись...

– Об... разном.

– Об ра-азном?.. Ишь ведь!.. А как бабушке али Антонее Христиановне скажу, – похвалят они вас? – пригрозила она.

Но мы в один голос стали ее умолять не выдавать нас никому, и она согласилась, но только с условием, чтобы мы забыли дорогу на нашу любимую крышу, а не то она пожалуется на обоих и Мишу ко мне пускать перестанут.

Делать нечего, пришлось нам искать более безопасного убежища для наших бесед.

Через несколько дней отпустили меня с Мишей после обеда в рощу поиграть, приказав быть на виду, далее оврага не заходить. Софья Михайловна не хотела пускать Мишу после его рассказа о нашем побеге в пороховые погребки без няни ко мне в гости, – а няня-то была раньше отпущена из дому; но мы так просили ее, уверяя, что дальше беседки и конца липовой аллеи не пойдем, что она согласилась.

Мы, точно, сначала играли возле беседки, не думая обманывать. Я затеяла преинтересную игру.

Мы, дети, в то время только что прочли прелестную сказку Гофмана[30] *«Неизвестное дитя»*. Я просто бредила похождениями Феликса и Христлибы! Рассказала о них всем своим подругам и Мише и часто затеивала игру «в неизвестное дитя»…

Вот и теперь я свою большую куклу нарядила в цветы и листья, сама представляла Христлибу, а Миша был Феликсом, и мы с ним гонялись за каждой перелетной осой или мухой, уверяя, что это злой *Пепсер*, сам «магистр Тинте», и что его надо убить.

Вдруг я вспомнила, что надо же нам закинуть «гадкие волшебные игрушки» в пруд! И побежали к пруду, куда нас никогда одних не пускали, совершенно забыв, в пылу игры, и запрещение это, и наше обещание, данное Софье Михайловне…

Пруд был недалеко. Мы скоро увидели его блестящую поверхность, по которой перебегали золотистые солнечные пятна и целиком отражались кусты и деревья противуположного[31] берега. Здесь так было хорошо, что игра мигом вылетела у меня из ума. Я бросилась на траву под развесистой березой, и Миша, запыхавшись, сел возле меня. Я сейчас же начала выдумывать,

[30] Гофман Эрнст Теодор Вильгельм (1776–1822) – немецкий писатель, композитор, художник и юрист.

[31] противоположного (*устар.*).

показывая ему на блестящих зеленых стрекоз с большими прозрачными крыльями, танцовавших[32] в солнечных лучах над водой, уверяя, что все это маленькие волшебницы, водяные русалки...

Налево от нас тропинка уходила в чащу; по ней, я знала, можно было выйти к пригорку, где на обрыве было кладбище. Глядя туда, Миша вдруг встал, прошел немного своей неверной, перевалистой походкой, чуть не падая, уходя ногами в сырую, мшистую землю, покрытую перепрелой листвой, и вдруг присел…

– Что ты делаешь? Что нашел?

Мальчик поднялся с трудом, шатаясь на слабых ножонках, и, радостно улыбаясь мне, вдруг запел тоненьким голоском недавно выученную песню:

– «Гриб, гриб – боровик! Всем грибам – полковник!»

Я вскочила и подбежала к нему, увидав, что он в самом деле нашел большущий гриб.

Вот радость-то! Кругом белелось множество грибов!.. Мы принялись их собирать в носовые платки, в ридикюли, в кукольные юбки. Я была в восторге, что принесу бабочке такое угощение. Она, я знала, любила грибы в сметане… Я заранее воображала, как она станет меня благодарить, как все будут удивляться, – где я нашла столько грибов? А Надя с Лелей будут мне завидовать.

– Постой! – говорила я. – Уж я знаю! Завтра все пойдут собирать грибы. Но мы, Миша, не покажем им своего места, – мы сами опять сюда придем... Какие чудесные грибы!

– Вот я какой хороший нашел! – хвастался Миша. – Посмотри, Верочка! Красный с белыми пуговками!

– Давай его сюда. Вот славный какой!.. Бабочка его прежде срисует, а потом уж повару Максиму отдаст зажарить! – восхищалась я огромным мухомором.

Собирая такие ядовитые «прелести» моей бабушке на ужин, мы незаметно, понемногу отходили от пруда; а уходя все дальше и дальше, мы совсем не замечали, что в роще темнеет. Миша, впрочем, уж давно устал и просился домой; но я увлекалась поисками грибов.

Наконец, уж и складывать их стало некуда, да и трудно было отличать от земли... Тут я попомнилась, оглянулась и в ужас пришла!

– Куда мы забрели?..

В просветах редевших деревьев кое-где блистала река, а влево на ясном вечернем небе вырезывались памятники и черные кресты...

Я схватила за руку Мишу и, роняя свои грибы, тащила его изо всех сил вверх, прочь от кладбища. Но как я ни спешила, обратный путь будто бы растянулся; тропинке нашей не было конца!.. Казалось, никогда нам не выйти к знакомым местам…

Миша чуть не плакал, крепко держась за мою руку, едва поспевая за мной. Я угрюмо молчала, догадываясь, что не по ближней дорожке пошла… Всхлипывания моего спутника, наконец, перешли в рев. Он отказывался идти, уверяя, что ушиб ногу, наколол глаз об ветку... Пришлось остановиться, отдыхать. В лесу было совсем темно... Я сама, хоть знала хорошо нашу рощу, но все-таки начинала трусить.

VII
Пожар

Наконец, поднялись мы на полянку, и увидала я тут, что мы совсем дали маху: далеко в сторону от пруда забрались, к «Большой даче», в чужую часть рощи. Эта *большая* дача стояла в то лето пустою. Ее редко нанимали, потому что она была очень велика и запущена.

Теперь я знала, где мы, и днем добежала бы домой скоро; но в темень жутко было мне входить вновь в чащу, хоть нашей, но все ж таки темной рощи.

Вдруг вся полянка и роща осветились ярким светом…

– Ах! Вот, слава Богу, луна! – обрадовалась я. – Знаешь что, Мишук! Давай повернем по большой аллее к грунтовому сараю и выйдем в поле через калитку Большой дачи. Там в одну минуту, полем, добежим домой!

– Нет, не хочу!.. Не надо по незнакомой дороге!.. Пойдем к пруду, к беседке! Домой! –

[32] танцевавших (*устар.*).

заревел Миша.

– Дурак! – рассердилась я. – Чего по темноте идти так далеко, когда прямо по светлому полю два шага!.. Не хочешь идти со мной? Ну, оставайся, я одна пойду.

И, бросив его руку, я решительно пошла в другую сторону. Разумеется, бедный Миша поплелся вслед за мною.

Я шла молча, но все время тревожно посматривала вверх на странный неровный свет, все осветивший мгновенно и вдруг уменьшившийся… Что бы это было?.. Костер, что ли?.. Или пожар?.. Боже мой! что же это горит такое?.. Я давно поняла, что это не лунное освещение, но не могла представить, откуда такой неровный багровый свет?

Мы дошли до калитки за грунтовым сараем[33], но она оказалась запертой. Немного подальше, в той же стене, была еще одна калитка. Больше ничего нам не оставалось, как плестись туда под стеной, по траве. Благо не было здесь заборов или непроходимого кустарника, а только деревья да кусты сирени, которые мы обходили, еле двигая ногами от усталости.

Я брела, спотыкаясь, таща за руку Мишу, то и дело падавшего, и с бившимся от страха сердцем прислушивалась к шуму, крикам, движению за стеной на том именно поле, до которого мы никак не могли добраться. Небо над нами теперь было залито багровым светом, красно-сизые клубы дыма летели к нему, расстилаясь в высоте.

– Что там такое? – ревел Миша, еще больше нагоняя на меня тоску и страх. – Зачем там огонь?.. Куда мы идем?

Я уж и утешать его перестала, только и думая, как бы выбраться, как бы дома очутиться...

Наконец, вот калитка, слава Богу!

Я толкнула ее... Она медленно отворилась, и... Боже мой, что за ужас мы увидали!.. Прямо перед нами сгорало огромное здание!

Толпы народа суетились вокруг, бежали из города; все поле было покрыто людьми, пожарной командой, экипажами... И думать было нечего пробраться между ними.

Это горел винокуренный завод. Деревянные стены его уж совсем обратились в раскаленные уголья. Над ними огненные языки пламени взлетали высоко, кружась в вихрях черного дыма; а в клубах его, над пожарищем, летали яркие звездочки-искры, горящие щепки, и бедные птицы кружились, метаясь как безумные, то освещаемые розовым заревом, то исчезая в огне.

Кругом бегали и метались черные люди, крича, карабкаясь по лестницам на огненные стены, выбрасывая вещи из окон, охваченных пламенем, заливая огонь водой, шипевшей и разлетавшейся в воздухе клубами пара.

Мы стояли, прижавшись к стене, дрожа от ужаса. Миша до того перепугался, что забыл кричать, а только позеленел и весь дрожал, жалобно всхлипывая и стуча зубами.

Шум, гам и треск стояли оглушительные. Плакали женщины, ревели дети и животные.

Неподалеку от нас какая-то старушка сидела на грудах всякого скарба и причитала, раскачиваясь и выкрикивая:

– Ох, смерть пришла!.. Ох, худо! Худо! Все помрем! Все сгорим!.. Вон – огненные вороны летают: почуяли беду!.. Горе нам, горе! Последний час настал!..

Вдруг, близехонько от нас, вспыхнули ярким голубым огнем бочки, сложенные грудой. Прозрачный, красивый столб огня взлетел к небу, охватив большое пространство, как светлый фонтан, колеблясь на фоне красно-желтого пожарища.

– Спирт горит! Спирт загорелся! – услышали мы крики.

И народ волной хлынул в нашу сторону с пожарными трубами. Струи воды, разлетаясь, брильянтовыми брызгами взвивались вверх и, шипя, разливались на пирамиде громадных бочек, сплошь охваченных синими молнийками.

Миша рванулся назад в рощу и потащил меня за калитку, перепуганный насмерть окатившей его струей холодной воды. Но мне мелькнуло в толпе, в двух шагах от меня, знакомое лицо дяди Ростислава.

– Дядя! Дядичка!.. Дядя Ростя! – из всей мочи принялась я кричать, порываясь к нему и не смея оставить бедного Мишу.

[33] Фруктовые деревья, прикрытые стенами от морозов и сетками от птиц. – *Примечание В.П.Желиховской.*

По счастью он услышал мой отчаянный призыв и в изумлении оглянулся, ища глазами...

– Сюда!.. Мы здесь, дядя!.. Отведите нас домой... Мы сюда с Мишей зашли и не знаем, как домой попасть.

– Верочка?!. Господи помилуй! как ты сюда попала?

И дядя подбежал к нам в изумлении.

Мы принялись ему рассказывать о своем приключении; но он не слушал нас, а только ужасался, как мы одни бегаем в рощу, запаздываем, попадаем на пожары!..

– Ведь здесь вас могут задавить! ушибить до смерти!.. Стойте тут смирно. Я вас сейчас отправлю... Здесь папа большой, приехал в дрожках... Подождите!

Он подозвал бежавшего мимо солдата и приказал ему что-то, а сам уж не отходил от нас, все время браня нас глупыми, негодными детьми, «побродяжками лесными», – на что имел, разумеется, полное право.

Когда солдат вернулся, а следом за ним увидали медленно двигавшиеся в толпе крытые дрожки и знакомое лицо нашего бородатого кучера Фоки, разгонявшего народ громкими криками: «Поди! Поди!», мы так обрадовались, что и сказать невозможно.

Дядя Ростя обоих нас усадил, велел Фоке нас домой отвезти и назад возвращаться, а сам опять вернулся на пожар. Миша, забившись в глубину, весь мокрый, бедняга, продолжал всхлипывать и дрожать; но я, почувствовав себя в безопасности, хотя тоже была вся мокрая, но вскочила и, обернувшись, держась за козлы, долго смотрела назад на страшную старуху, все еще кричавшую, пророча всем горе и смерть.

Она такое сильное впечатление произвела на меня, что я даже забыла страх предстоявшей расправы за непослушание и своевольство. Я опомнилась только [тогда], когда дрожки остановились у крыльца и я увидала всех своих, перепуганных нашим исчезновением: бабушку, укоризненно качавшую головой, и грозную Антонию, бросившуюся на меня с вопросами:

– Откуда вы?.. Где вы пропадали?.. Вас ищут по всему лесу!.. Мы думали, что вы утонули! Пропали!.. Софья Михайловна заболела!.. Бабушка измучилась!..

Она схватила на руки Мишу и побежала с ним успокаивать мать его; а ко мне приступили бабушка, и тети, и Леля, все с расспросами и выговорами; но скоро заметили, что никакого толку от меня нельзя добиться: я падала от усталости, глаза мои слипались, а перед ними так и стояла страшная картина пожара со всем его шумом и криками, и черная старуха на огненном фоне раскачивалась, крича: «Все сгорим! Все помрем!..»

Бабочка, всегдашняя моя помощница и скорая заступница, велела всем оставить меня в покое, а няня Настя уложила меня спать. Но я провела очень беспокойную ночь: и во сне мерещился мне огонь, и пламя, и ужасная старуха, которой я бредила долго. А бедный Миша поплатился сильной лихорадкой, просудившись кроме того. Он вымок и продрог больше, чем я, да и был вообще слабее меня, а потому и проболел несколько недель.

Ух! Как мне было стыдно смотреть на него и на Софью Михайловну! Ведь ее мудрено было уверить, что я ее не преднамеренно обманула и не «нарочно» завела ее Мишу на пожар!

Нас, разумеется, уж никогда более ни на минутку не оставляли вдвоем одних и навсегда прекратили наши беседы и *думы*…

Кроме того, решено было пригласить к нам в дом старую француженку, m-me Pecquoeur (Пекер), которая до сих пор приезжала только давать уроки Наде и Леле.

Я слышала сама, как бабушка разговаривала с Антонией и тетей Катей о том, что «вот переедем в город – кончится наша вольная летняя жизнь на даче: m-me Pecquoeur нас приучит к порядку»…

Я спросила Антонию с очень тяжелым чувством на душе:

– Зачем нам эту старуху?.. Мы и с вами учимся по-французски.

– Да! Меня вы не хотите слушаться, а m-me Пекер вас вымуштрует, погодите! – отвечала Антония, которая все еще притворялась сердитой на меня.

Я бросилась к ней на шею и закричала:

– Ну и пусть она будет Лелиной гувернанткой, как была мисс Джефферс! А мне, кроме вас, никого не нужно!

– О, да, разумеется! Чтобы удобнее было бегать по полям и посещать пожары... – засмеялась

она, освобождаясь от меня.

Но хотя милая моя Антоничка еще не хотела позволить мне себя обнять, но по ее голосу и ласковым глазам я видела, что она уж простила меня, и так ей и сказала, прыгая вокруг нее как юла.

– Не воображай, пожалуйста, – осадила она меня. – Я только потому тебя не совсем разлюбила, что верю, что ты не хотела лгать и не слушаться, а только по глупости наделала беды... Но совсем тебя простить тогда только смогу, когда ты совершенно загладишь хорошим поведением свою вину.

VIII
В старом гнездышке

Чем ближе лето приходило к концу и чем чаще дожди да ненастье мешали нашему вольному житью на даче, тем с большим удовольствием вспоминался мне наш городской дом и тянуло меня посмотреть на старые уголки, места стольких удовольствий и шалостей. Хотя переселение старой, длинноносой француженки-гувернантки, как только мы переедем в город, было дело решенное, но все же я надеялась, что меня ее власть не особенно коснется. Это, казалось мне, дело моей пятнадцатилетней тетушки и сестры, которой пошел тринадцатый год с июля. Да и они обе, особенно бойкая, смелая на язык Леля, уверены были, что «не так страшен бес, как его малюют»; что не гувернантка с ними, а они с нею сумеют справиться...

Многое, почти все, сходило нам с рук, потому что бабушка, вся проникнутая горькой мыслью о нашем сиротстве, боялась всяких строгостей, чтобы мы сами не могли его вспомнить; а тетя Катя, после смерти мамы, еще сильнее привязалась к своей любимице Елене и, ослепленная этой любовью как очень молодая девушка, не могла всегда быть благоразумной.

Антония в воспитание сестры вмешивалась мало; я и маленький брат Леонид были ее кумирами. Я же была и бабушкиной «любимкой»; больше, впрочем, по названию, потому что она была слишком справедлива, чтобы не всех нас одинаково любить; однако в ней я всегда находила защиту от предполагаемых строгостей Антонии, которая в свою очередь стояла на страже, оберегая меня от «бабочкина баловства».

Я понимала ее заботы, смысл ее удвоенной строгости, но из-за этого не меньше ее любила. Так сумела Антония себя поставить, что каждое слово ее было мне законом, каждое желание – свято.

Помню, раз я даже огорчила свою любящую, дорогую бабочку! Она удерживала меня возле себя, а я рвалась к Антонии. Бабушка, шутя, сказала, что удивляется, почему я ее меньше люблю, чем Антонию!

– Она тебя чаще бранит, все только и думает об уроках; никогда не побалует, не полакомит, как я… За что ж ты ее больше любишь?

Я отвечала, напустив на себя важность:

– Не больше, а иначе!.. Вот видите, бабочка, варенье слаще, вкуснее хлеба, но больше хлеба его никто любить не может... Без варенья – жить можно, хотя и скучно! А без хлеба – жить нельзя, хоть он и надоедает часто!.. Я Антонию как полезный хлеб люблю, а вас – как вкусное варенье!

– А!.. Так значит, Антонию ты любишь всегда, а меня только иногда, – когда тебе хочется полакомиться? – серьезно опечалилась бабушка. – Ну, спасибо!.. Иди же себе к своему хлебу насущному, – Бог с тобой!

– Нет, бабочка, вы меня не так поняли! – стала я уверять ее. – Я варенье *всегда* люблю, право! Гораздо больше, чем хлеб люблю!.. Я только хотела сказать, что Антония – как хлеб: с нею быть всегда полезно. Хоть и совсем не так хорошо и весело, как с вами!

Но бабочка уж не захотела слушать моих объяснений. Она очень огорчилась моим сравнением с бесполезным и даже вредным вареньем...

Я пошла от нее к Антонии очень смущенная.

Рассказывая ей, однако, об этом, я втайне надеялась, что она-то, по крайней мере, утешит меня; будет рада и благодарна за мое лестное о ней мнение... Но не тут-то было!

Она ужаснулась и объяснила мне ясно, как дважды два, что я таким «глупым и

несправедливым сравнением» сделала бабушке не только незаслуженное огорчение, но и величайшую дерзость... Сказать такую глупость! Так нагрубиянить бабушке, которая так умна, так образована, что она, Антония, и десятой доли не знает тех полезных вещей, которым бабушка выучила мою маму, всех своих детей и меня может научить!.. Так опечалить ее, которая только и думает о нашем благе, так меня и всех нас любит!

Я стояла перед распушившей меня крепко Антонией совсем растерянная и сама огорченная, поняв, что в самом деле наглупила...

– Так всегда бывает с болтуньями, какой и вы сделались за последнее время! – заключила она. – Вы хотите казаться более умной, чем вы на самом деле, и из-за этого болтаете много глупостей!..

Это была истинная правда: я очень старалась представляться разумницей и говорить *«умные вещи»*; в последнее время это самолюбивое желание во мне очень начало развиваться и, понятно, часто заставляло меня говорить глупости.

Антония всегда говорила мне истинную правду, нисколько не заботясь, нравится мне это или нет.

В начале сентября мы переехали в город. Опять увидела я большой трехэтажный дом, который три года тому назад приняла за освещенный, как фонарь, сказочный дворец. Кругом собора, на площади перед ним, березовые аллеи сильно разрослись; но зато все остальное, дома и комнаты наши, мне показалось, будто меньше стали… Пока все были заняты раскладкой и приведением всего в порядок, я на свободе обегала все лестницы, все закоулки; осмотрела все уголочки, в каждом припоминая что-нибудь из своего раннего детства. Я, словно исполняя важный долг, мысленно здоровалась и приветствовала каждое местечко, в то же время удивляясь, почему все стало меньше? Коридоры – короче, окна и двери не так огромны; даже большая зала, в которой я по старой памяти попробовала было поскользить по блестящему паркету, уже не поражала меня своею бесконечностью…

Вспомнив в пору, что *«я уже не маленькая»*, бросила свое занятие и побежала к Антонии.

– Антония! Наш дом сделался меньше, – объявила я.

– C’est vous-même qui êtes devenue plus grande, au contraire (это вы сделались больше, наоборот), – засмеялась она мне в ответ. – Дом-то такой же, но ты сама выросла!

Ага!.. Ведь это правда!.. Так вот в чем дело... Я побежала вниз, с тайной гордостью замечая, что схожу теперь *как все*, как большие, – переменяя ноги. Ступени в моем воспоминании представлялись такими высокими, что с них надо было спускаться все *одной ногой* вперед, да и то держась крепко за балясники перил.

Полная чувства собственного достоинства, я прошла коридор, залу, гостиную, покосившись на тот диван, под которым лежала в таком ужасе рядом с Жучкой, принятой мною за кровожадного зверя, в памятную ночь крестин моей куклы[34]…

Я покосилась на него и подумала:

«Надеюсь, что это все забыли?.. Надеюсь, что меня больше не станут называть *полуночницей*!».

Вот и наша желтая диванная, где я *«тогда»* заснула в первый вечер по приезде, рассматривая прекрасную даму с розой в напудренных волосах. Эта комната, увешенная портретами предков и родных моей бабушки, всегда казалась мне таинственной и немножко страшной, потому что глаза всех этих портретов за мною следили, когда я проходила... Вот и теперь все эти красавицы с белыми волосами, все эти господа в мундирах и высоких париках смотрят со стены и будто улыбаются мне. «Кто знает? А может быть *они* и в самом деле видят и узнают меня и со мною здороваются? – тотчас же зафантазировала я. – Ведь все это мои родные тоже!»

Я взобралась на диван и начала сама себе рассказывать разные сказки об этих портретах, – благо, был белый день... В сумерки я бы, пожалуй, побоялась смотреть в их лица, в их вечно открытые, неподвижные глаза...

Пришли Надя и Леля, и я принялась расспрашивать: кто это такие?.. Как их зовут?

Леля сама о них мало знала, только напомнила мне, что одну из них я – со слов дяди Рости,

[34] *«Как я была маленькая»*, глава III, «Крестины куклы». – *Примечание В.П.Желиховской*.

который шутя сказал, будто это «Клеопатра египетская», – называла *«куропаткой египетской»*...

– Ну, теперь уж я не скажу такой глупости! – с важностью заявила я. – Надя, кто этот господин в мундире? Он так похож на бабочку.

– Немудрено! – засмеялась Надя. – Это ее отец! Дедушка наш – князь Павел Васильевич Долгорукий[35]. А вот это – бабушка моя, княгиня Елена Ивановна[36]…

– Если ты хочешь о них все знать, спроси бабочку! – посоветовала мне сестра. – Она мне рассказывала!.. Так интересно!.. Особенно про этого, – который указ царя Петра Великого[37] разорвал, – князя Якова Долгорукого[38]!

Она указала на небольшой портрет масляными красками и убежала за Надей устраивать ее комнату.

Я сейчас же опять отправилась наверх к бабушке, но она теперь отказалась, пообещав рассказать о своих предках в другой раз. Она тоже была очень занята устройством своего удивительного кабинета, о котором можно было бы написать целые тома, – столько было там редкостей.

Мы, по-прежнему, поселились в самом верхнем этаже. Там было пять комнат. Из средней, входной, направо была спальная и кабинет бабушки, а налево наша спальная с классной и за ней комната гувернантки. Надя спала с бабочкой, а тетя Катя внизу, рядом с детской, где спали Антония с «бабушкой Настей», нашей старой, старой няней, и с братом Лидой. В самом нижнем этаже были дедушкины комнаты и его канцелярия.

Обо мне, я помню, было тут много толков: бабушка, и тетя, и Антония – все предлагали взять меня в свои комнаты. Мне самой очень хотелось остаться с Лидочкой и Антонией… Но благоразумие превозмогло. В общем семейном совете было признано, что мне всего полезнее поселиться под непосредственным надзором новой *строгой* гувернантки, и мою кровать поставили вместе с Лелиной, рядом с комнатой m-me Pecquoeur. Увы!.. Из того я увидала, что пришел конец моему вольному детству!.. Что отныне на меня будут смотреть иначе и требовать больше... Это льстило моему самолюбию, но и пугало немножко. Я решила сама про себя быть примерной девочкой... Только надо сознаться, что такое решение больше сказывалось в моих словах, нежели в поступках; я очень полюбила не столько себя, как других, останавливать и читать благоразумные наставления... За это Леля, остроумно все замечавшая, дала мне прозвище *«Назидательной азбуки»*, которым меня долго все сердили.

Одно только могу сказать, не хвастаясь: я не была ленива. Антония, гувернантки и учителя мною всегда были довольны.

IX
M-me Pecquoeur

Вскоре свершилось то, чего все мы побаивались: старушка-француженка, которую мы почти не знали, поступила к нам. Ее маленькая, сгорбленная фигурка, всегда почти серьезное, даже будто бы злое лицо с блестящими серыми глазками, очень острым носиком, на кончике которого зимою вечно висела капелька, с седыми жиденькими волосами, свернутыми на висках в плоские завитки, – при первом взгляде никому не могла понравиться.

Надя и сестра моя невзлюбили ее сразу, я же не разделяла их нерасположения и скоро к ней привыкла. Это, вероятно, случилось именно от того, что кроме одного часа в день, когда она давала мне урок, у нас с ней не было никаких отношений в продолжение первого года; а потом я

[35] Долгоруков Павел Васильевич (1755–1837) – генерал-майор, прадед Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской, его жена – Генриетта Бандре дю Плесси (ок. 1767–1812).

[36] Бандре дю Плесси Елена Ивановна (урожд. Бриземан фон Неттиг) – жена генерал-поручика Адольфа Францевича Бандре дю Плесси (1729–1793), прапрабабушка Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской.

[37] Пётр I Алексеевич (1672–1725) – последний царь всея Руси (с 1682 г.) и первый император всероссийский (с 1721 г.).

[38] Долгоруков Яков Федорович (1639–1720) – боярин, сподвижник Петра I, приказной судья, генерал-пленипотенциар-криг-комиссар (1711–1716), с 1717 г. председательствовал в Ревизион-коллегии, являясь строгим и неподкупным контролером доходов и расходов казны. Как гласит предание, Долгорукий, заседая в Сенате, не пожелал подчиниться императорскому указу, отягчающему жизнь народа, разорвав его.

ее полюбила за множество интересных рассказов, игр и песен, которыми она нас забавляла. Она вообще была знающая и великая мастерица в разных работах. Отлично рисовала, клеила самые тонкие вещи из картона, дерева, стекла, раковин, не хуже бабушки, которая великолепные вещицы мастерила.

Кроме того, мадам Пекер умела артистически устраивать всякие забавы, празднества, живые картины, спектакли. Ей все удавалось, и соскучиться с ней бывало трудно, когда она сама была в духе...

Но как только начнет, бывало, она грызть ногти, хмуриться и упорно глядеть вниз, в одну точку, тут уж не жди ничего хорошего!.. Только, бывало, покрикивает:

– Не угодно ли вам перестать? Не угодно ли вам замолчать и готовить уроки?

Тут крепко колотилась линейка ребром об стол и грозно тряслась капелька на кончике ее покрасневшего носа.

У нас весь классный стол и все тетради вечно были изрисованы ее удивительно хорошо схваченными профилями в этом виде и непременно с зловещей капелькой на носу. Леля дошла в них до полного совершенства… Понятно, что такие, всюду попадавшиеся портреты не могли особенно располагать Генриет[т]у-Каролину Пекер к приятному расположению духа и любви к своим неугомонным воспитанницам.

Но иногда, когда они заблагорассуживали ее не сердить некоторое время, она тоже клала гнев на милость, и тогда никто не мог лучше ее занять и развеселить больших и малых. Я всегда желала, чтобы в большие праздники m-me Пекер бывала в духе; по воскресеньям она редко оставалась с нами: уходила к мужу или замужней дочери, когда она приезжала в Саратов. Но наши православные праздники она проводила у нас, и если она была в расположении, то всех веселила.

Усаживала нас вокруг себя и начинала задавать вопросы, а не то учить песням или скороговоркам. Я многие и теперь помню... Одну шепелявую девочку она вылечила от этого порока языка, заставляя ее повторять скоро-прескоро разговор между колбасником и покупателем, в котором часто повторяются одни и те же французские слова: ces, saucisses, ici, six, sous[39] и пр.

Раз, кажется на святки, когда у нас было много гостей и мы все гадали, m-me Пекер объявила, что она колдунья и может предсказать желающим их будущность. Она ушла в свою комнату, повозилась там, что-то приготовляя, и потом позвала желавших войти.

Две взрослых барышни входили одна за другой и выпрыгивали оттуда сильно смущенные и взволнованные; за ними шмыгнула и я; но m-me Пекер мне объявила, что я слишком молода для гаданий; однако позволила остаться в полутемной комнате смотреть.

Вошла Леля... Серые глазки старухи блеснули. Она придвинула на середину комнаты столик; поставила на него зеркальце; взяла что-то белое, вроде простыни, с ближнего стула и потушила последнюю свечку. Темнота была бы полная, если б на другом столике, у стены, не горела голубым, колебавшимся пламенем маленькая курильница, на которую m-me Пекер подбросила какого-то порошку, распространявшего тонкое благоухание.

– Станьте на колени, – сказала она сестре, – вот здесь, перед зеркалом.

Сестра исполнила приказание без возражений.

– Теперь подымите руки над головой... Сожмите их крепко! Как можно крепче!.. Вот так. Я накидываю на вас плащ ясновидения...

Она покрыла ее всю простыней, оставив открытым только лицо.

– Теперь глядите пристально, стараясь не моргать, в зеркало; сосредоточьтесь и думайте о вашей будущей судьбе! – командовала она.

Слегка оторопевшая Леля слушала и все исполняла беспрекословно. Забившись в кресло против нее, я внимательно следила за всем и видела по лицу ее, что она серьезно старается все выполнять и не шутя ожидает *чего-то*…

– Думайте, что ждет вас? – торжественно шептала старуха. – Если стекло зеркала останется темным – ваша жизнь будет грустная; если посветлеет – будет счастлива! Если же вдруг ярко озарится светом – вас ожидает необычайно блестящая будущность!.. А если вы еще при этом почувствуете что-нибудь особое – о! тогда и жизнь ваша будет совсем необыкновенная! Вы будете

[39] эти, колбаски, здесь, шесть, под (*фр.*).

иметь судьбу необыкновенную и совсем особенную.

– А что же такое могу я почувствовать? – спросила сестра, как мне показалось, очень тихим и тревожным голосом.

– Я, право, не знаю сама! – отвечала старуха. – Может быть, радость... Или больше... Не знаю! Ну, теперь замолчите и не двигайтесь. Постарайтесь сосредоточиться и быть неподвижной одну минуту. Вот еще: возьмите *это* в руки и держите над головой. Молчание!..

Она дала ей в руки еле светившуюся курильницу, из которой подымался голубоватый, чуть видный дымок, и стала позади нее неподвижно.

Воцарилось глубокое молчание.

Воображаю, как беспокойно билось сердце Лели и как должны были устать глаза ее и руки отяжелеть от напряжения. Прозрачное сияние курильницы колебалось над ее головою, ничего не освещая и совсем не отражаясь в зеркальце, куда были устремлены и ее и мои глаза... Прошла минута тяжелого, напряженного ожидания.

– Не могу больше! – прошептала Леля. – Я уроню курильницу!

– Тихо! Сейчас!.. – шептала старуха. – Видите?!

И в ту же минуту комната и зеркало на мгновение озарились таким ярким светом, что я отшатнулась, а Леля вскрикнула и вскочила на ноги, роняя курильницу.

– Что случилось? – вскричала гувернантка, ловко подхватив курильницу и поспешно зажигая свечу.

Несмотря на перепуг, мне в голосе ее послышался смех.

– Что случилось? – негодующим, но сдержанным тоном возразила сестра. – Вы меня просто укусили за палец!

– Я?! – весело изумилась старуха. – Что вы!.. Полноте! Может, это дьявол?

– Что такое? Леля, что с тобой?.. Отчего ты закричала? – послышались тут нетерпеливые голоса за дверями.

Они приотворились; а Леля вдруг, к величайшему моему изумлению, схватилась за голову и, растолкав всех, как была в простыне бросилась бежать из комнаты.

Все устремились за ней.

Я тоже было побежала, желая узнать причину такого внезапного ужаса, но гувернантка остановила меня, смеясь, за руку.

– Куда вы бежите? Оставьте ее поиграть немножко комедию, подурачить любопытных подруг.

– Но что с ней случилось? Чего она вдруг испугалась?

– Ничего с ней не случилось и ничего она не испугалась! Вы же сами все видели.

– Но... Неужели вы в самом деле ей укусили палец?

– Ну что ж! Надо же было дать ей случай покричать и разыграть сцену, чтобы убедить компанию... Ведь ваша сестра не захочет признаться, что я над ней подшутила!

И m-me Пекер, добродушно посмеиваясь, приступила к приготовлениям чего-то нового.

Но я не унималась.

– А свет? Откуда был такой яркий свет?

– Свет?.. Вот вам свет! – рассмеялась она.

И сыпнула на свечку щепотку желтого порошка, который вспыхнул ярким облачком и тотчас потух.

В этот вечер m-me Пекер была необыкновенно в духе и забавляла нас множеством интересных выдумок.

X
Мой день

Вот как обыкновенно проходил в эту зиму мой день.

Вставала я очень рано, далеко до свету, и спешила скорее одеться, чтоб не прозевать «кофе папы большого»; я ведь уж говорила, кажется, что так мы с сестрой называли нашего дедушку. Помню, как, глядя на освещенные изнутри комнаты морозные стекла в окне, испещренные

чудными листьями, звездами и ветвями, блиставшими как брильянты, я вся дрожала легкой, приятной дрожью, слегка даже постукивая зубами и сама себе улыбаясь. Я дрожала совсем не от холода: в нашей комнате большая белая изразцовая лежанка не остывала до утра, а только потому, что мне представлялось, как холодно-прехолодно должно быть там за замерзлыми стеклами на дворе. А улыбалась я, заранее думая о том, как весело мне будет, если удастся опередить бабушку – раньше ее с «большим папой» поздороваться!..

Одевшись, я бежала в самый нижний этаж дома, по двум лестницам и двум коридорам, к дедушке. Иногда мне приходилось ждать, пока он позвонит своего лакея «Костика», ожидавшего его призыва вместе со мною; но чаще я уже заставала его одевающимся. Я останавливалась у дверей первой комнаты и, стоя смирно, чутко прислушивалась к долетавшему из спальни движению, к плеску воды и шороху дедушкина шелкового халата. При первом зове его я бросалась к нему. Он здоровался со мной обыкновенно еще с мокрым полотенцем в руках и весело меня приветствовал:

– А-а! Мое почтение, ранняя пташка!.. Как изволили почивать?.. Что изволили во сне видеть?

Я болтала минуты две-три, пока дедушка окончательно приводил себя в порядок; но причесавшись, он подходил в угол к старинному образу Спасителя, рисованному по полотну масляными красками и висевшему на стене вплоть, тогда как меньшие иконы стояли углом, – и, перелистывая сначала лежавшее тут же большое Евангелие, отсылал меня со словами:

– А ну-ка пойди теперь, пока я помолюсь: зови ленивую бабочку кофе пить... Пристыди ее, что мы с тобой давно уж встали.

И я, очень довольная, бежала опять наверх и, запыхавшись и смеясь, вбегала к бабушке. Но мне очень редко доставалось удовольствие застать ее еще в спальне: она почти всегда занималась в своем кабинете в ожидании моего появления.

Вместе спускались мы опять по лестницам, тогда казавшимися мне бесконечными, и заставали уж дедушку сидящим в кресле в своем бессменном из толстой зеленой шелковой материи халате, подаренном ему одним богатым калмыцким князем, который сам его привез из Тибета; он просматривал календарь и свою записную книжку в ожидании нашего прихода. Он вставал, когда входила бабушка, и они здоровались, целуясь и целуя друг другу по очереди руки, обыкновенно при этом спрашивая друг друга по-французски о здоровье и о том, как провели ночь.

Я следила за всем всегда в радостном настроении. Константин, дедушкин лакей, подавал прибор на большом подносе; бабушка наливала кофейник, зажигала спирт. Голубой прозрачный огонек вспыхивал ярко, раздавалось шипение и клокотание и по всей комнате распространялся приятный пряный запах кофе и подрумянившихся гренков из белого хлеба. В другой комнате их поджаривали, держа на длинной вилке над жаром только что истопившейся печки. Эту операцию иногда поручали мне, что я ужасно любила, но чаще я только наблюдала, как это делала Варвара-ключница или кто-нибудь из прислуги.

Ничто в свете не казалось мне таким вкусным, как дедушкин кофе с этими гренками!

Я так любила свои ранние утра у папы большого, что раз как-то, проспав позже восьми часов и выбежав, когда уж бабушка всходила наверх, я так горько расплакалась, что долго не могла уняться, хотя бабочка, утешая меня, обещала всегда будить меня вовремя.

Напившись с дедушкой кофе, мы отправлялись «по хозяйству». Бабушка шла, в сопровождении бабы Капки, гремевшей ключами, в кладовую, где у дверей нас ожидал старший повар, Максим.

Отворялись шкафы, открывались кадки и банки, и бабушка собственноручно выдавала провизию на весь день. Я в это время, глядя внимательно, как она отделяла ложкой масло, которое перед ней почтительно держал на сковороде повар, слушая, как она приговаривала: «Вот это на пирожки, а это на соус, а вот – на жаркое», – дивилась про себя, как это бабочка все лучше повара знает? Но, раздумывая об этом, я не упускала времени: то вынимала из банки чернослив-ку, то клала в рот миндальку, а то запускала руку в холщовый мешочек, где хранился изюм...

Я была пребольшая лакомка!

А какая удивительная женщина была моя бабушка, я в то время ни оценить, ни знать не могла. Я расскажу о ней после; теперь надо окончить рассказ о том, как я свои дни проводила в ту зиму, когда мне шел восьмой год.

Покончив свои дела по хозяйству, мы садились с бабочкой «на фортепьяно играть» – она меня и музыке учила тогда. Проиграв свои гаммы, я бежала в диванную, где обыкновенно шло еще чаепитие всей семьи, а оттуда все вместе наверх подымались. Бабушка шла заниматься в свой кабинет, а мы в классную с m-me Пекер французскому языку учиться. Я с ней занималась недолго; уроки потом с Антонией готовила и больше с ней одной занималась. В полдень после завтрака я с нею или с тетей Катей ходила гулять или в санках кататься, а не то – надевали на меня шубку, капор[40] и теплые сапоги и выпускали просто с няней и с маленьким братом во дворе побегать, потолочься в снежку, пока руки и лицо покраснеют, а щеки и нос мороз, как иголочками, заколет.

Возвращались только к позднему обеду, когда солнышко уж последними оранжевыми лучами золотило снежные крыши. Голуби, воркуя, слетались на ночлег по карнизам, а высокий крест соборной колокольни весь, как черным бисером, был унизан галками и воронами.

За обедом у нас всегда бывали гости. Стол в зале накрывался каждый день на несколько лишних приборов, и редко один или два пустовали.

В сумерки я очень любила забираться в бабушкин кабинет и слушать ее рассказы. Когда непогода не позволяла гулять, я всегда пользовалась этим и, покончив с уроками, шла к ней. Она рассказывала мне о своем детстве или объясняла, что за вещи разложены у нее в кабинете на полках, на полу или развешаны по стенам. Помню несколько вещей, особенно меня занимавших. Был там огромный клык или рог, как целое дерево; он стоял прислоненный в углу, а возле него лежал большой камень, о котором бабочка говорила, что это *зуб* того самого допотопного животного, которому принадлежал и клык... Потом в стеклянных шкапах у нее стояли разные набитые чучела зверей и птиц; чудесные бабочки всех цветов, жуки под стеклом висели на стенах; на столах разные редкости, окаменелости... пропасть удивительных вещей! А уж какие книги с картинками были у нее и как она сама чудесно рисовала!.. Соскучиться у нее нельзя было. Вот я сейчас попробую рассказать о ней.

Вечер я бегала на свободе от бабочки к Антонии, от них в гостиную и залу или к няне Насте в детскую поиграть с рыжим толстяком, трехлетним братишкой, Леонидом, которого она взяла на свое попечение. Я считалась еще маленькой, вечерами не занималась; пользуясь свободой, я часто еще надоедала Антонии и няне, требуя не во время то сказок, то игр, то чтения... У меня в семье не было сверстников: Лидочка был слишком мал, а Надя и Леля прогоняли меня как маленькую. В восемь часов, едва напившись чаю, я только успевала раздеться и бултыхнуться в свою теплую, мягкую постель, как уж и засыпала непробудно вплоть до утра.

XI
Наша бабушка и ее кабинет

Елена Павловна Фадеева, наша бабушка, в самом деле, была удивительная женщина! Я такой, как она, во всю жизнь другой не знавала.

Начать с того, что в те времена, когда так плохо учили женщин, когда никто и не думал о том, что девушек надо учить чему-либо кроме рукоделий, да хозяйства, да разве что французскому и немецкому языкам в самых богатых дворянских семьях, – бабушка прекрасно знала не только несколько языков, но и множество наук, да еще так, как и ученые иные не знают их.

Я нисколько не преувеличиваю. Ведь у людей ученых бывает обыкновенно один предмет, который они особенно изучают, – одна специальность; а у бабушки моей специальности не было; но я мало знаю наук, которых бы она не изучила основательно. История, география, ботаника, археология, нумизматика – во всем она была специалист!

И все эти знания она приобрела не с помощью дорогих учителей, а лишь благодаря собственному неустанному труду, любознательности и настойчивому рвению к познаниям. Хотя она принадлежала к одному из первых княжеских домов в России, но отец ее, князь Павел Васильевич Долгорукий, был человек небогатый; бабушка детство и юность свою провела почти безвыездно в деревне, и всеми необычайными своими знаниями исключительно была обязана себе одной.

[40] Капор – женский головной убор, соединяющий в себе черты чепца и шляпы.

Мало того, она была рукодельница и хозяйка замечательная. Она могла изготовить самый тонкий обед, и не было женской работы, начиная от простого шитья и вязания и до самых тончайших вышиваний, плетения кружев и делания искусственных цветов, которым бы она не могла научить желающих!.. И этого мало: бабушка Фадеева оставила десятки томов книг с рисунками по археологии, нумизматике и в особенности по ботанике, и все они не только ею нарисованы, но и переплетены ею самой. Цветы она обожала и всегда была ими окружена. Она и воспитывала их, и растила, и собирала, и сушила превосходно, и рисовала еще лучше. У нее были собраны и нарисованы почти все виды растений южных берегов Волги, Кавказа и Закавказья, где она прожила последние годы жизни.

Вместе с такой необыкновенной ученостью скромность, непритязательность и простота обращения бабушки со всеми позволяли простым людям, знавшим ее годами, всегда свободно к ней приходить за делом, помощью, советом, а не то и просто посидеть – душу отвести в разумной беседе. Они совсем не подозревали ее глубокой учености. Все знавшие уважали и любили ее; в особенности бедные люди ее обожали! Как часто заставали мы свою «бабочку» не в показанный час за кофе, чаем или завтраком, которых она еле касалась, только делая вид, что кушает, ради того, чтоб не обидеть и накормить какую-нибудь старушку, пришедшую с просьбой или благодарностью, а оказывавшейся *гостьей*. У бабушки никогда не бывало просителей – были всегда посетители, гости. Наша желтая диванная была назначена для таких приемов, и никогда бабушка не отпускала приходивших к ней, не сделав всего возможного для успокоения и помощи им. И как ласково умела она обращаться со всеми, разговаривать с каждым о том, что было ему интересно! Какое живое участие принимала в чужих радостях и печалях и как сочувственно на все отзывалась!.. Теперь, вспоминая многое, что тогда происходило незаметно, я вижу ясно, что она не притворялась ради ласки, а действительно все понимала, всему сочувствовала, всех жалела и любила искренно, потому что ее теплое, великое сердце все и всех в себе вмещало. Не было только в нем места дурному: злобы, себялюбия она не знала.

Я уверена, что мелкие хозяева и помещики думали, что бабушка весь век огурцы солит и булки печет; что швеи-рукодельницы считали ее специалисткой только по женским работам; учителя и гувернантки думали, что она подробно изучила предметы их преподавания, а ученые люди – это я верно знаю – поражались, узнавая, что она не только науками, но и шитьем в своей девичьей, и поварским искусством в своей кухне всем сама заведует и на все время находит.

С молодыми бабушка умела и поболтать, и посмеяться, и об их нарядах и о веселии позаботиться; с старичками охотно старину вспоминала – память ее была замечательна! С богатыми и важными сама становилась барыней; даже с детьми умела забавляться искренно как добрый товарищ, радуясь нашему веселию.

Своим любимым занятиям науками она предавалась, всегда запершись в своем кабинете, и здесь подолгу просиживала над книгами, над своими собраниями древностей, монет, насекомых, растений – над своими рукописями и рисунками.

Рукоделиями бабушка в кабинете не занималась; она шила и вышивала, плела и вязала, кроила и даже разрисовывала бальные платья своим дочерям в диванной, где редко не стояли пяльцы ее с какой-нибудь большой работой. В этих рукодельях ей помогала Антонья; а в картонажах и клеении раковинами она часто советовалась с m-me Pecquoeur, большой искусницей в этом деле, тогда как муж ее, старик Пекер (которого, к слову сказать, мы гораздо больше любили, чем его жену), всегда призывался на совет, когда бабушке надо было научить своих поваров какому-нибудь мастерскому кушанью. Он был прежде содержателем ресторана в Париже и великолепным поваром и кондитером, что не мешало ему быть премилым и очень занимательным стариком.

Такова-то была моя милая, добрая «бабочка». Она и в переписке со многими учеными людьми состояла, и многих приятелей между простыми, неучеными знакомыми имела, и в доме всем распоряжалась, и нас, детей, и учить и забавлять успевала. На все она время и час находила!

Бывало, сидит она над какой-нибудь мудреной работой в желтой диванной, а я напротив нее помещусь и расспрашиваю ее о портретах, развешанных по стенам, и, затаив дыхание, слушаю ее рассказы. Сколько интересных вещей она мне рассказывала о всех предках своих: Долгоруких, Ромодановских, Бандре-дю-Плесси и других. Нескольких из них казнили при царице Анне

Иоанновне[41]… Злой немец Бирон[42] оклеветал их... Одного бедного князя Василья Сергеича[43], – его портрет в синем сюртуке с белыми (напудренными) волосами давно интересовал меня, – когда отца его Сергия Григорьевича Долгорукого[44] Бирон велел казнить, взяли маленьким мальчиком и отдали к кузнецу в работники... Ему уж было двадцать лет, когда воцарилась дочь Петра Великого, императрица Елизавета[45], и призвала его ко двору своему; но богатства уж возвратить не могла: все имения Долгоруких уж были другим розданы... Этот Василий Сергеич (чудо какой он красавец на портрете!) и был отцом Павла Васильевича – отца моей «бабочки». Мне так было жаль его, когда она рассказывала о нем, бедном, как он, уж будучи старичком, ей в письмах писал: «Ты уж прости, Еленушка, мою безграмотность. Не взыщи со старика!.. Меня, ведь, смолоду не писать – лошадей ковать учили!»

Много занимательных историй о тех, чьи портреты сызмала меня занимали, я узнала от бабушки; а еще более удивительных вещей наслушалась я о диковинках в ее кабинете. Она так интересно рассказывала о жизни зверей и зверюшек, птиц и пичужек, которых у нее были полные шкафы набитых чучел. В одном стеклянном шкафчике крошечные колибри (птицы-мухи) у нее *летали* на кустике цветов; в другом большом шкафу стоял у нее огромный белый фламинго, вытянув длинную шею и распустив крылья с лапами красными, как кровь... Леля мне рассказала еще прежде, когда я была совсем маленькой, что *это и есть кровь*... Что – «злой фламинго вылетает по ночам, убивает своим черным крепким носом маленьких детей, ест их, а после вытирает кровь с клюва лапами и на день *притворяется* неживым»... Я теперь знала, что это вздор, и не верила этому, а все же побаивалась фламинго и в сумерки одна не осталась бы в бабушкином кабинете.

Зато на полу у меня там лежал другой *набитый* приятель: гладкий, как атлас, тюлень из Каспийского моря. Я очень любила притаскивать его за хвост к бабушкиному креслу, садиться на него у ее ног и слушать рассказы ее[46].

Что за дивные-дива рассказывала она мне о давних, давних – *«о допотопных»* – временах по поводу хранившихся вокруг нее окаменелых костей, клыков и черепов! Об огромных зверях, о мастодонтах – великанах-мамонтах, больше нынешних наших слонов; об ужасных ящерицах, змеях и всяких страшных чудовищах и гадах, наполнявших землю, прежде чем потоп уничтожил большую часть их. Как много, много раз просила я ее повторять эти рассказы, занимавшие меня лучше всякой сказки!

Как живо представлялись мне бесконечные, непроходимые леса, в которых гнездились, рыскали и пожирали друг друга эти страшилища! Беспредельные пустыни, степи и горы, в которых на воле бегали они целыми стадами; где в светлых, спокойных озерах, в камышах, равных по высоте нынешним лесам, в вязких, бездонных болотах и среди сыпучих песков перелетных они таились, пресмыкались, рычали и шипели, не ведая ни страха, ни помехи.

Некого было им бояться: некому было уничтожать их, очищать от них землю! Они были полные ее хозяева и, встречаясь, вступали в бой лишь друг с другом…

– А где ж тогда были люди? – спрашивала я, чувствуя, как сердце у меня сжимается, и

---

[41] Анна Иоанновна (1693–1740) – российская императрица с 1730 г.

[42] Бирон Эрнст Иоганн (1690–1772) – фаворит российской императрицы Анны Иоанновны.

[43] Долгоруков Василий Сергеевич (?–1803).

[44] Долгоруков Сергей Григорьевич (ок. 1688–1739) – дипломат.

[45] Елизавета Петровна (1709–1762) – российская императрица с 1741 г.

[46] «Елена очень любила в сумерки собирать вокруг себя маленьких детей, вести их в музей [кабинет] бабушки и там поражать их воображение сверхъестественными рассказами, неслыханными приключениями, в которых главной героиней была она сама. Каждый экспонат музея доверял ей свои тайны, передавал свои предыдущие воплощения или эпизоды из их жизни.

Где она могла услышать про перевоплощение? Кто ей в нашей православной семье мог рассказать о переселении душ? Она любила ложиться на своего огромного тюленя, гладить его серебристую шкуру и рассказывать нам приключения, которые он ей передавал. Она говорила так красноречиво, таким красочным языком, что даже взрослые незаметно для себя оказывались увлеченными ее волнующими рассказами. Младшая же аудитория верила каждому ее слову» (*Нэф М.* Личные мемуары Е.П.Блаватской. М., 2009. С. 34). Слова В.П.Желиховской из книги А.П.Синнетта «Случаи из жизни мадам Блаватской, составленные из сообщений ее родственников и друзей» (Лондон, 1886).

невольно косясь на пятиаршинный[47] «клык мамонта», безобидно стоявший в углу.

– Люди?.. О, бедные люди в то далекое, страшное время были так немногочисленны, так невежественны, грубы и хищны, как и сами звери, – только гораздо безопаснее, бессильнее их, – рассказывала, бывало, бабушка. – Не знали они ни истинного Бога, ни домов, ни одежды, ни хорошего орудия. Они сами боялись всего – и зверей, и друг друга! Потому они и жили большею частью не на земле, а на реках и озерах в кое-как сбитых бревенчатых шалашах, поставленных на сваи или на плоты... Ходили они голые или еле прикрытые звериными шкурами, снятыми с животных, которых удавалось им убить дубинами, камнями или стрелами с заостренными наконечниками. Железа ведь тогда не знали. Вся их утварь, инструменты, орудие – все было деревянное или каменное… Они даже огня не знали тогда. Ели все сырое, разрывая мясо или рыбу руками, а больше питаясь плодами да растениями. Они не знались даже друг с другом, боясь отходить от жилищ своих.

Бабушка показывала мне рисунки этих жилищ на водах, называя их «свайными постройками», а то время «каменным периодом». У нее много было окаменелостей – камней с отпечатками допотопных растений и рыб; странной формы камешки, служившие диким людям оружием или украшениями, и тяжелые каменные молоты, каких теперь никто бы не мог употреблять.

XII
Наши праздники

Очень весело проводили мы всегда праздничные и воскресные дни, а иногда и очень даже шумно.

Утром, прямо от дедушкина кофе, я шла скорее одеваться к обедне, и мы отправлялись с кем-нибудь из взрослых или в собор на нашей площади, перед домом, а не то в женский монастырь или в крестовую архиерейскую церковь. Отстояв обедню, мы почти всегда куда-нибудь заходили: к игуменье, к монахине Алеевой[48], или к самому преосвященному Иакову[49], если были с бабушкой или тетей Катей в его церкви. Именно бабочка брала меня с собой в приют; но в таком случае мы прежде всегда заезжали за лакомствами для приютских девочек. А чаще всего мы втроем с сестрой и тетей Надей заходили в гости к нашим соседям, к доктору Троицкому, который жил со своей старушкой-матерью и с овдовевшей сестрой – матерью той самой Машеньки Лемеховой, с которой Надя и Леля были такие друзья. Для меня там подруги не было, но я всех их очень любила: и старую бабушку, и веселую Машеньку, и в особенности вкусные пироги, пастилы и маринады домашнего приготовления, которыми они нас угощали.

По возвращении домой я почти всегда заставала у себя двух-трех приятельниц, если сама к ним не ехала «на целый день», – как мы с ними чередовались. В том и другом случае затевались игры – жмурки, прятки, финты и пр[очие] удовольствия, в которых день проходил, как один час.

Бывали и экстренные удовольствия: катанья, посещения m-eur[50] Pecquoeur'a, мужа нашей гувернантки, к которому она нас иногда водила в гости. Мы его очень любили. Это был превеселый старик, с вечными песнями и прибаутками на языке и с вечными лакомствами в карманах. Жил он в маленьком домике, где была пропасть интересных вещей: портретов, старого фарфора, бронзы и разных хорошеньких работ его жены – подушек, под[д]онников, ящичков. Все было миниатюрно, будто здесь жили дети, а не большой, крупный старик. На окнах всегда цвели цветы и распевали канарейки; все было пестро, тепло, уютно и весело. А уж стол в его маленькой столовой всегда бывал покрыт превкусными вещами, который m-eur Pecquoeur сам заготовлял, как ни один в Саратове кондитер не умел приготовить.

Нам, впрочем, редко удавалось бывать у него; почти каждый праздник он сам с утра являлся

---

[47] 3,5 м.

[48] См. *«Как я была маленькой»*. Глава X и XI. – *Примечание В.П.Желиховской.*

[49] Иаков (в миру Иосиф Иванович Вечерков, 1792–1850) – епископ Саратовский и Царицынский (1832–1847), архиепископ Нижегородский и Арзамасский (с 1847 г.).

[50] месье (*фр.* monsieur).

к нам, расшаркивался, отпускал какое-нибудь bon mot[51], подмигивал нам насмешливо на свою жену, которая притворялась, что этого не замечает; вытаскивал из бездонных карманов какое-нибудь заморское лакомство, всего чаше чудесные французские каштаны, которые ему присылали какие-то друзья; потом отправлялся к бабушке и... что же бы вы думали, они тут делали?.. Они надевали фартуки, засучивали рукава и отправлялись на кухню стряпать.

Поварам тогда отдавался приказ: помогать, смотреть и учиться!.. Бабушка, сама превосходная хозяйка, во многом, по разнообразию и превосходству своей кухни была обязана этому милому старику, до глубокой старости сохранившему любовь к своему делу. Он справедливо считал себя не поваром, а артистом и художником в кулинарном искусстве.

Уж разумеется, я всегда была с ними!.. Для меня не было большого удовольствия, как надеть ситцевую блузку, подвязаться фартучком и идти *«стряпать с бабочкой!»*. Нечего и говорить, что только егозила и мешала им, но иногда мне поручали что-нибудь взбить или очистить, а не то мосье Пекер, бывало, приготовит тесто, а мне дадут формочку и покажут, как нарезать из него фигурные штучки; а когда к обеду в тот день подавались пирожки, то бабушка всегда объявляла, что «это Верочкины пирожки: ее стряпня, ее умение!».

И я, почти в восемь лет, была такая дурочка, что принимала это как должное и очень важничала своим искусством!

Рождественские праздники в том траурном году, разумеется, в семье нашей только для нас, детей, прошли весело; да и то, даже я не раз печально задумывалась, вспоминая нашу прошлогоднюю «последнюю мамину елочку» – кукольный мой дом, арапа в красной куртке и других кукол маминой работы. Антония накануне нового года все от нас пряталась, чтоб мы не видели ее заплаканных глаз; но мы и сами плакали и грустно встретили этот первый год нашего сиротства, как ни старалась бабочка нас веселить и развлекать, беспрестанно собирая к нам детей и нас самих отправляя в гости.

Любимым удовольствием старших гостей наших было играть в письменные игры: в *«secrétaire»*[52], в *«вопросы и ответы»*, в *билетики.* Мы писали на отдельных билетиках имена знакомых, *где* они, *что делают,* что будут *говорить* об этом и что *из этого произойдет*. Потом эти бумажки перемешивались, – не все вместе, а каждый отдельно, особо, – по очереди вынимались и вразбивку, кто с кем попал, читались громко. Выходили презабавные соединения имен – мужчин и дам, и пресмешные происшествия. Надя и Леля всегда брались писать *«что выйдет»* и *«что скажет свет»,* потому что это самые трудные отделы этой игры, в которых надо всего больше иметь остроумия. Меня, разумеется, как и всех маленьких, в эту игру не допускали – я и писать-то хорошо еще не умела; нас призывали только к чтению, да и то, я во всем том, что заставляло смеяться старших, мало что понимала... Мне гораздо веселей было, пока у них шли эти письменные забавы, с меньшими детьми в большой зале шумно бегать, играя в *«рыбки»,* в *«барыня требует весь туалет»*, в *«кошку и мышку»* или в *«веревочку»*.

Иногда m-me Pecquoeur, когда бывала в хорошем расположении духа, вмешивалась в наши игры и оживляла их какой-нибудь оригинальной выдумкой. Одна такая забавная выдумка ее у нас долго оставалась любимой игрой. В одно воскресение она сама вызвалась нас занять новой игрой: сначала она все приготовила в своей комнате, – таинственные приготовления всегда ей были необходимы, – потом позвала меня и еще одну девочку. Мы увидали посреди комнаты на возвышении нечто вроде дивана, покрытого ковром. Она объяснила нам, что это *трон*; что мы должны сесть на краях его и обязаны учтиво вскочить на ноги, как только сядет между нами *королева*, та, кому выпадет счастие ее изобразить.

– Это, видите ли, три стула, на которых для великолепия я еще положила подушки, – объяснила она. – Все ваше дело в том, чтобы быстро подняться в ту самую секунду, когда я в третий раз хлопну в ладоши... Смотрите же, не зазевайтесь!

Она усадила нас сама на высокие стулья по бокам возвышения, так что посреди нас оставалось свободное широкое место, и позвала остальных. Все дети гурьбой ввалились в комнату и затараторили, расспрашивая, что это за игра?.. Для кого такой трон?

[51] острое словечко (*фр.*).
[52] «секретаря» (*фр.*).

– Для счастливицы, которая вытянет билетик с надписью: «Hoppe là, la bienheureuse!»[53], – объяснила гувернантка. – Вот возьмите этот мешочек и каждая выньте по билету... Ту, которой достанется не пустой билет, я искренно поздравлю, потому что она недаром примет титул королевы и сядет на трон: она действительно достигнет высоких почестей и даже с ней тут же, немедленно, произойдет нечто до того неожиданное и приятное, что она всю жизнь не забудет этого оригинального происшествия... Ну-с, барышни, пытайте судьбу! Кому выпадет счастие?..

Все бросились к ридикюлю m-me Pecquoeur, и у всех изображалось на лице разочарование по мере того, как разворачивались пустые бумажки... Одна только толстенькая Катя Полянская вся покраснела и расцвела, в недоумении глядя на свой билетик…

– А-а! Счастливица!.. Вот она – счастливица. Вот она королева! – окружили ее все.

Я с подругой, сидевшей со мною по концам великолепного трона, сплошь затянутого ковром и шалью, едва держалась от смеха в ожидании того, что будет сейчас.

– Милости просим, Ваше Величество! – торжественно обратилась к ней гувернантка. – Не угодно ли вам занять ваше королевское место?

Катя, улыбаясь, вся красная, радуясь и, вероятно, немножко побаиваясь, взошла на возвышение и, поглядывая на нас исподлобья, только что села на свое место, как мы вскочили по знаку нашей гувернантки, и бедняжка провалилась в пустое место между нашими двумя стульями и забарахталась в мягких подушках, нарочно для нее подложенных.

А мы-то, предательницы, со смехом и криком еще бросились кутать ее сверху шалью и ковром, покрывавшими трон.

Насилу бедняжка выпуталась из своих пелен и вылезла вся красная, растрепанная и переконфуженная. Мы боялись, что она рассердится за такую шутку; но она была добрая девочка и умница, понимала забавы и первая смеялась над своим падением.

Долго хитрая выдумка старой француженки была у нас в большом ходу. Много раз мы ее потом повторяли с новичками, и всегда «hoppe là, la bienheureuse» возбуждала новые взрывы смеха; пока, наконец, всем стала известна эта шутка и уж некого было ею обманывать.

XIII
Неожиданный испуг

В эту зиму в Саратов на службу приехал доктор Б.[54], тот самый, который провожал маму в Одессу и долго лечил ее. В семье нашей он был принят как свой человек, и бабушка по целым часам расспрашивала его о последних месяцах жизни мамы и, слушая его рассказы, много плакала. Меня, бывало, она и Антония всегда прогоняли; но я умудрялась проскользнуть и заслушивалась их разговоров до замирания сердца, до горьких слез, потому что они пробуждали во мне слишком живо воспоминания о маме, о нашей жизни в Опошне и в Одессе, когда еще она не совсем была обессилена болезнью.

Мои прежние мечты возвратились ко мне с новой силой. Я опять стала задумываться, представляя ее себе живою, счастливо возвратившеюся к нам после долгого, вынужденного отсутствия.

В это время из Петербурга был прислан целый транспорт только что изданных отдельными книгами ее сочинений[55]. Их разложили временно в одной из комнат среднего этажа рядами на большом диване. Вид этих книг в светло-зеленых обертках производил на меня странное – приятное и горькое – и в то же время какое-то жуткое впечатление. Они пробуждали во мне тяжкое сознание ее смерти и вместе чувство гордости за свою умную, всеми любимую мать, оплакиваемую даже никогда не видавшими ее посторонними людьми.

Еще прежде родные и Антония часто показывали мне в газетах и журналах различные отзывы о ней и о ее сочинениях; рассказы из жизни ее, сожаления о том, что она умерла такой

---

[53] «Вскочи сюда, счастливица!». – *Примечание В.П.Желиховской.*

[54] Бензенгр Василий Николаевич (1815–1891) – русский военный врач и антрополог.

[55] Мать моя, Елена Андреевна Ган, писала с 1837 по [18]42-й год, когда скончалась 27 лет отроду. Подписывалась она псевдонимом Зинаиды Р-вой. – *Примечание В.П.Желиховской.*

См.: Сочинения Зенеиды Р-вой. Т. 1–4. – СПб.: В типографии Константина Жернакова, 1843.

молоденькой. Похвалы ее романам и повестям и в особенности ей самой в ее биографиях производили на меня глубокое впечатление. Образ ее, молодой и красивой, вознесся теперь высоко в моем представлении и был окружен ярким сиянием, ореолом славы, о которой я и не помышляла при ее жизни...

Сначала я долго не могла решиться открыть одну из этих книг; мне казалось это все равно, что заговорить с нею самой, услышать снова ее голос и речи... Я издали, боясь приступиться, засматривалась на них; смотрела, как старшие перебирали их, перекладывая, приводя в порядок, открывая то одну, то другую, и часто, зачитываясь, забывались над ними...

Раз Антония подозвала меня и дала прочесть одно место в рассказе мамы[56], где говорилось обо мне, о том, как тяжело было бы ей, моей матери, расстаться со своими детьми, умереть с мыслью, что ее «черноглазая Верочка» скоро забудет ее – не сохранит о ней, вероятно, даже малейшего воспоминания… Я сначала не могла понять, не верила, что это точно говорится обо мне. Я перечитывала потом это место много раз и оторваться не могла от этой страницы!.. Я словно в самом деле услыхала из-за могилы родной мне, ласковый голос матери. Мне так и чудилось, что вот она тут, возле меня, стоит живая, только невидимая мной и смотрит на меня своими чудесными темными ласковыми глазами и просит меня ее не забывать!.. О! как я носилась с этой книгой! Как читала и перечитывала ее всем, своим подругам, и горничным девушкам, и старой няне Насте; сколько над нею плакала, втихомолку целуя эти несколько строчек, прижимая к себе книгу и мысленно обращаясь к образу матери, страстно обещалась ей никогда, никогда ее не забывать.

В комнате тети Кати на стене в черном ящике за стеклом, поставленном на черной же шкатулке, в которой хранились рукописи мамы, был гипсовый слепок с лица ее, когда она была уже мертвой. Мы часто ставили к нему живые цветы, окружали его венками из иммортелей[57]. Чаще, чем прежде, я застаивалась перед этим «бюстом», вглядываясь в спокойные, застывшие черты, стараясь оживить их в своей памяти, придать им краски, улыбку, выражение; вспомнить голос ее, смех, *всю ее* – живую, прежнюю!.. Раз я увидала, что бабочка разбирает шкатулку, где хранились разные мамины вещи, рисунок ее могилы, прядь волос ее... Я упросила бабушку дать мне колечко ее волос, положила их в медальончик с образком св. Митрофания[58], который всегда носила на груди, и с тех пор его не снимала, то и дело открывая его и горячо целуя «мамины волоски».

Наконец, я до того настроила себя, что не только во сне, но и наяву мне беспрестанно стал чудиться то голос матери, то она сама. Последние дни, когда еще мама была на ногах и гуляла с нами, я почему-то запомнила ее в пестром шотландском бурнусе[59], какие тогда были в моде и назывались *тартанами*[60]. Вот что раз вечером случилось. Сидели мы все в желтой диванной и ждали дедушку к вечернему чаю. Я сидела, по обыкновенному, прижавшись к бабочке, держа ее руку в своих и раздумывая Бог весть о чем, когда она меня попросила принесть ей стакан воды из залы, где квас и вода всегда стояли на особом столике.

Я встала и пошла медленно, раздумывая и не подымая глаз. Прошла гостиную, большую нашу залу и только что подняла руку к графину, как вдруг остановилась как вкопанная и вся обмерла…Прямо передо мною стояла женщина, закутанная густою вуалью, кутаясь в пестрый тартан, в слишком хорошо – показалось мне – знакомый мне тартан…

Как я устояла на ногах, как не закричала на весь дом, как не упала в обморок от радостного испуга? Не понимаю!.. Думаю, что не успела опомниться, не успела вскрикнуть; дама, увидав меня, сделала ко мне два шага и вдруг зашаталась и упала на пол без чувств...

---

[56] *«Воспоминания о Железноводске».* Повесть эта была написана, когда мне было всего два года. – *Примечание В.П.Желиховской.*

[57] Иммортели – растения, высушенные цветки и соцветия которых сохраняются почти такими же, какими они были в живом состоянии.

[58] Митрофан Воронежский (1623–1703) – епископ Воронежский, причислен к лику святых 25 июня (7 июля) 1832 г.

[59] Бурнус – просторное женское пальто с широкими рукавами.

[60] Тартан – орнамент, образованный саржевым переплетением нитей, заранее окрашенных в разные цвета, в результате чего образуется клетчатый узор, состоящий из горизонтальных и вертикальных полос, а также прямоугольных областей, заполненных диагональными полосками.

Как безумная бросилась я назад, в диванную, схватила за руку бабушку и вся бледная, стуча зубами от дрожи, онемев от испуга, тащила ее за собой...

– Что ты?.. Что с тобой?.. Что случилось? – перепугалась бабушка, и все в тревоге поднялись, испуганно глядя на меня.

Доктор Б., тут же бывший, заметил, что я чем-то перепугана, и хотел взять меня за руку, но я отдернула руку и, собрав все свои силы, забормотала:

– Идите!.. Идите скорей туда... Там, в зале, лежит... *она*...

– Она!.. Кто она? Кто лежит там?

Все тут бросились в залу. Доктор впереди всех. Я остановилась в гостиной и смотрела издали, что будет?.. Сердце мое билось так, что дышать было трудно...

Доктор прямо подошел к лежащей на полу даме и прежде всего отдернул вуаль... Перед моими широко открытыми в радостном ожидании глазами мелькнуло старушечье, совсем незнакомое лицо. Я вскрикнула и бросилась без оглядки бежать наверх, в свою комнату. Там я зарылась лицом в подушки и горько плакала, пока не пришли меня звать вниз, к чаю. Тетя Надя и Леля начали надо мной подсмеиваться, называть трусихой, расспрашивать, чего я так перепугалась. Но Антония и бабушка, как всегда, взяли меня под свое покровительство.

– Как же было не испугаться ей, чуть не споткнувшись на лежавшую в обмороке женщину? – говорила Антония. – И вы бы сами испугались.

– Да, но уж наверное не разревелись бы от страха! – возразила сестра. – Смотрите, как она себе заплакала глаза...

Леля начала рассказывать мне, кто это была такая: помещица, приезжая, которой надо было видеть по делу «папу большого». Ее попросили подождать дедушку в зале, а ей вдруг отчего-то сделалось дурно; она сама объясняла, что, вероятно, от усталости закружилась голова...

Но я не слушала ее рассказов... Что было мне за дело, кто она такая?.. Раз я ошиблась в своей смутной, радостной надежде, мне было совершенно все равно, кто была эта чужая дама.

– А ты заметила, Верочка, – продолжала сестра шептать мне на ухо, – какой у нее был тартан? Ужасно похожий на маменькин одесский. Я так удивилась!

– Да оставь же ее в покое! – остановила Лелю бабушка.

Увидав, как я вспыхнула и с каким трудом удерживалась от слез, она, вероятно, догадалась отчасти, в чем дело. Она усадила меня возле себя и не отпускала весь вечер.

– Помолись хорошенько Богу, – сказала она, прощаясь со мной и крестя на сон грядущий, – и спи спокойно, милочка моя.

XIV
Новая «мисса»

Одним главных желаний матери нашей было, чтоб мы учились языкам. Ради этого она неустанно трудилась, и как ни трудно было ей иметь двух гувернанток в тех захолустных местах, где мы, бывало, жили, переходя по деревням вслед за батареей, которой командовал отец, – при нас, кроме Антонии, жила еще мисс Джефферс, англичанка, благодаря которой мы порядочно болтали по-английски. Но в Саратов она с нами не поехала, и мы более английскому языку не учились, потому что не у кого было.

Бабушку это очень беспокоило; она боялась, что, несмотря на ежедневное чтение и переписывание странички из учебника, мы забудем этот язык.

В Саратове тогда не было никого, кто бы мог с нами заниматься; но бабушка вспомнила, что в Астрахани, где прежде они жили, была семья небогатых англичан. Тотчас же с ними списались; одна из взрослых дочерей согласилась приехать к нам, и вот в один день нам объявили, что на следующей неделе к нам приедет новая учительница, англичанка... Леля, как услышала это известие, так отчаянно всплеснула руками и закричала:

– Еще одна?!. О, Господи-Владыко! Да что же это будет?.. Ученых, всему миру на удивление, хотят из нас сделать, что ли?.. Третью гувернантку выписывают?

Тетя Катя засмеялась ее ужасу и сказала, что Лизавета Яковлевна Стюарт совсем не гувернантка, а только учительница английского языка.

– Она такая молоденькая, что скорее будет тебе подругой, Лоло. Она даже будет учиться французскому языку у m-me Пекер вместе с вами; а берем мы ее только, чтоб вы по-английски говорить не забыли.

Сестра успокоилась и даже была очень довольна новой подруге по урокам. С нами уж одна взрослая барышня училась – Машенька Лемехова: она каждый день приходила на урок m-me Пекер и первой союзницей во всех затеях Елены против старухи состояла.

– Ну, вот у нас и другой товарищ будет! – радовалась Леля и ждала приезда *«новой мисс»* с нетерпением.

«Новой мисс» ее прозвала Маша, наша горничная, что ездила с нами и мамой. Она, да и я с ней вместе, по старой памяти о длинноносой, разноглазой и косой мисс Джефферс представляла себе и эту англичанку не иначе, как смешной и уродливой; но когда она приехала, все мои невыгодные для нее заключения разлетелись.

Надо сказать, что в те времена не только железных дорог не было в России, но и почтовые пути не особенно процветали. За Лизаветой Яковлевной посылали в Астрахань крытую кибитку и доверенного человека из дворовых; и ехала она чуть ли не две недели до Саратова; а потому приехала бедняжка страшно усталая, уж не говоря об огорчении разлуки с родной ее семьей. Очень молоденькая, хорошенькая и страшно конфузливая, она вспыхивала вся, как маков цвет, едва кто-нибудь, даже мы, обращались к ней с речью, и всего боялась.

Бабушка и тетя ее, разумеется, обласкали, а мы скоро ее полюбили, что не мешало нам и подсмеиваться над бедняжкой, и часто выводить ее из терпения. Ничем ее нельзя было обидеть и огорчить сильнее, чем замечанием, что она нехорошо знает по-английски.

А Леля, бывало, то и дело с нею спорит из-за значения какого-нибудь слова или правописания его и доказывает, что она сама лучше знает.

– Так зачем же меня выписали?.. Зачем ваша бабушка мне деньги платит? – протестовала она, бывало, вся пылая негодованием и делаясь еще миловиднее от яркого румянца и блиставших черных глаз. – Зачем я вам, если вы лучше меня мой родной язык знаете?

Раз ее Леля страшно разогорчила ответом:

– А я почему знаю, зачем вас к нам взяли?.. Верно, за ваши хорошенькие глазки?

Боже мой, как бедняжка расплакалась!.. Она не умела сердиться, никогда не жаловалась; но тут не утерпела, назвала Лелю недоброй, несправедливой девочкой и сказала, что попросит, чтоб ее отослали домой...

Тогда мы все, и большие и малые, Леля первая, бросились ее целовать и утешать, уговаривая успокоиться, уверяя, что сестра пошутила, хотела только подразнить ее.

Распри моей задорной сестрицы, в сущности очень доброй, с молоденькой гувернанткой почти всегда кончались смехом, и дружеские отношения строптивой ученицы и неопытной учительницы от них не страдали впоследствии.

Хотя мисс Стюарт и не умела преподавать по всем правилам, тем не менее ее присутствие скоро принесло нам несомненную пользу. Она считала своею обязанностью, – хотя прекрасно говорила по-русски, – наших русских речей не понимать; вследствие этого, хотя многие сомневались, чтоб такая русская англичанка могла нам быть полезной, мы очень скоро нагнали потерянное время и заболтали между собою по-прежнему.

Одна мамина горничная Маша упорно отказывалась верить пользе, которую могла приносить нам Лизавета Яковлевна.

– Ну, какая же это *мисса* и чему она может научить вас? – упорно рассуждала она. – По-русски говорит, как русская, всего боится, от всякого слова краснеет. Ни прикрикнет она, ни страху не задаст никому… Целый день себе работает, разговаривает со всеми, смеется, как всякая другая барышня!.. Такие, что ли, миссы-то бывают?..

– Отчего же не такие? – смеялись мы с сестрой, стараясь убедить ее и разъяснить правильно дело. – Ведь *мисс* – это и значит по-английски – *барышня, девушка*. Ну, так почему же английским барышням не смеяться и не разговаривать?.. Они тоже разные бывают: и веселые и скучные, и молодые и старые, и хорошенькие и дурные, как Елизавета Яковлевна и наша старая мисс Джефферс. Как же ты этого не понимаешь?

Но Маша только рукой махала.

– Да уж нет!.. Куда ей?.. Не такая. Уж сколько я и в Петербурге, – как маменька вам губернантку искали, – и в Одессе *миссов* этих аглицких видала, – вовсе она на их непохожа и никак по-аглицкому вас хорошо не научит.

Так мы и не могли убедить ее, что *мисса* – все равно, что барышня; а что барышня может так же научить, как и мисса.

Но наша «новая мисса» была в самом деле пресмешная! Она часто удивляла нас такими вопросами, которых я в восемь лет не могла бы сделать, и часто ужасно забавляла, как будет видно из дальнейших рассказов.

XV
Опять на даче

Скоро пришла весна, сначала снежная и холодная, потом мокрая и грязная, но с жарким солнышком, быстро растопившим последний слежавшийся снег. «Прошла Волга» – и все сразу посветлело!.. Мы ездили смотреть, как трескался лед, как громадные льдины, все исполосованные следами полозьев, словно живые серые мохнатые звери, шевелились, ползли, громоздились одна на другую и тихо уплывали, подгоняемые свежим ветерком. Через неделю уж река текла вольно, отражая яркое небо; а через две в ней отражалась уже светлая листва зазеленевших берегов.

Я радостно следила за увеличивавшимся теплом и за расцветом аллей бульвара, окружавшего собор, и с апреля начала приставать ко всем: когда же мы на дачу переедем?.. Наконец, наступил счастливый день, когда бабушка собралась съездить осмотреть нашу старую дачу: удостовериться, сколько новых стекол надо вставить, где и какие поправки требуются по всему дому. Ох! Как я напрашивалась, чтобы она меня с собой прихватила! Но на этот раз почему-то она не могла меня побаловать, и пришлось мне удовольствоваться проводами ее и нетерпеливым ожиданием ее возвращения и рассказов.

С этого дня не стало границ моему нетерпению. Меня даже не радовали прогулки на бульвар, где липы и кусты сирени с каждым днем становились зеленее и гуще; я только и думала о том времени, когда попаду в свою рощу.

Настало, наконец, это блаженное время в конце мая. Первые дни уроки были совсем упразднены, и целая неделя прошла у меня в беготне по роще, по бахче и по всем трем дачам, в которых еще не было никого, кроме сторожей.

Не помню, говорила ли я, что средняя дача, называвшаяся *большой*, в самом деле была огромная и представляла множество интересного, начиная от своих расписных потолков до огромных подвалов. Для меня и те, и другие были одинаково населены какими-то волшебными созданиями, гномами и феями. Я вообще была ужасная фантазерка; постоянно воображала себя окруженной разными сказочными созданиями, а уж на большой пустой даче у меня был целый мир, другим невидимый. О ней я расскажу после, но теперь только помяну одну залу, где было чудное эхо, а я воображала, что на мой голос отвечает ни кто другой, как прекрасная женщина, окруженная амурами, которая была нарисована на потолке...

Но, разумеется, более всего меня занимали наши дальние и ближние прогулки по окрестностям дачи, в то время окруженной такой рощей, которая переходила по берегу Волги в настоящий лес. Из дальнейших прогулок я больше всего любила поездки на гору Увек, потом в чье-то красивое имение, называвшееся Бараний Буерак[61], где на пасеке жил столетний старик-пчеловод, угощавший нас всегда огурцами со свежим сотовым медом[62]. А еще я помню какое-то

[61] «…Баранников, а не Бараний, Буерак находился в ущельях гор, окружавших Саратов с западной стороны, и был местом раскольничьих скитов» (*Гусакова З.Е.* Информация к биографиям Е.П.Блаватской и С.Ю.Витте в ГАСО // Памятные даты отечественной и местной истории и документальное наследие. Саратов, 2009. С. 150).

[62] «Для девочки [Е.П.Блаватской] вся природа была одушевленной. Она слышала голос каждой вещи и приписывала вещам сознание, существование в них скрытых сил, которые видела и слышала только она одна. Так она относилась ко всем видимым, хотя и неживым, предметам: фосфоресцирующему пню, камешкам, холмам и т.д. <…>

В доказательство этого она любила указывать на столетнего старца, который жил недалеко от их поместья в лесном овраге. Этот старец [“Бараний Буерак”] был, как говорили люди, настоящим волшебником, но добрым волшебником. Он охотно лечил всех больных, которые к нему обращались, но мог и наслать болезнь на грешников. Он хорошо знал оккультные свойства растений, цветов, и про него говорили, что он умеет предсказывать будущее.

голое, песчаное место, куда мы, бывало, езжали на линейках, чтоб искать окаменелостей для бабушкина кабинета. Там мы рылись в песке и всегда находили множество окаменелых рыбьих зубов, а часто и камни с отпечатками на них целых рыбьих остовов, улиток или каких-нибудь странных растений[63].

Бабушка рассказывала нам много интересных вещей по поводу этого песчаного поля. Она говорила, что тут когда-то было море, водились рыбы и всякие водяные чудовища, исчезнувшие после великого потопа, который залил многие земли, а в других местах, напротив, обнажил морское дно, превратив его в сушу.

Поблизости любимой прогулкой нашей была соседняя красивая дача купца Горбунова[64], где были очень злые собаки. Мы их ужасно боялись, а между тем мне теперь кажется, что эта-то именно опасность нам и нравилась, потому что ничего не стоило послать сказать сторожам, что мы придем, – и все собаки были бы привязаны. Но мы никогда этого не делали, предпочитая пробираться к дому (в котором никто никогда не жил) молча, крадучись, со всевозможными предосторожностями, чтобы злые псы нас не завидели прежде, чем мы очутимся в саду за оградой. Не будь этой опасности, этого замирания сердца, а потом торжества, когда мы благополучно добирались до крыльца дачи или хотя бы до калитки садовой, мы, пожалуй, никогда бы и не вздумали переходить границу наших смежных рощ.

В то лето наша экскурсия туда была особенно замечательна. В первое же воскресение мы

Рядом со своей избушкой он устроил пасеку с множеством ульев. Летом в послеобеденное время его всегда можно было увидеть на этой пасеке, медленно проходящим среди ульев, увешанным с ног до головы роями своих любимиц – пчел. Он прислушивался к их жужжанию, безнаказанно погружал свои руки в ульи и беседовал с пчелами. Пчелы замолкали, как бы вслушиваясь в его непонятную речь, похожую не то на монотонное пение, не то на бормотание. По-видимому, златокрылые труженицы и их хозяин хорошо понимали друг друга. В этом Елена была совершенно убеждена.

["Бараний Буерак"] интересовал девочку, и она при каждом удобном случае навещала его. Она задавала ему вопросы, с серьезным вниманием вслушивалась в его объяснения о том, как понять язык птиц, животных, насекомых. Что касается столетнего мудрого старца, то он не раз нам говорил: "Эта маленькая барышня совсем отличается от всех вас. Большие события ожидают ее в будущем. Жаль, что я не доживу до того, чтобы увидеть исполнившимся предсказанное мною, *но оно исполнится обязательно*!"» (*Нэф М.* Личные мемуары Е.П.Блаватской. М., 2009. С. 35–36). Цитаты В.П.Желиховской из книги А.П.Синнетта «Случаи из жизни мадам Блаватской, составленные из сообщений ее родственников и друзей» (Лондон, 1886).

[63] «Верстах в десяти от летней дачи губернатора была песчаная площадка, где можно было найти окаменевшие останки рыб, ракушек, зубов неизвестных чудовищ и т.п.

По-видимому, в древние времена это место было морским дном или дном большого озера. Удивительным было то, что Елена рассказывала нам на этом месте. Это были ее видения, а не просто рассказы. Улегшись плашмя на землю и упершись подбородком на руки, почти зарывшись глубоко в песок, она описывала нам все это подводное царство, его жизнь, борьбу, которая в нем происходила, уверяя при этом, что все это она видит. Своим крошечным пальчиком она рисовала на песке давно вымерших морских чудовищ, и перед глазами слушающих ее проходили картины фауны и флоры в то древнее время.

Слушая ее рассказы о небесно-голубых волнах, которые в радужных красках отсвечивали на песке морского дна игру солнечного света, о коралловых рифах и сталактитовых пещерах, о морской траве с прекрасными блестящими на ней анемонами, мы как бы ощущали прикасание прохладных вод к нашим телам, которые превращались в прекрасные морские существа. Наше воображение следовало за ее рассказами, теряя представление о действительности.

Позднее она уже никогда нам так не говорила, как это было в раннем детстве. Ее источник иссяк. Но тогда она завладевала своей аудиторией и вела ее за собой, заставляя видеть то, что видела она, хотя бы и не так ясно.

Однажды она всех нас напугала почти до нервного припадка. Заведя нас в эту сказочную страну, она внезапно перевела нас из прошлого в настоящее время, потребовала, чтобы мы представили себе, что все то, что она говорила о прохладных синих волнах и их населении, находится сейчас вокруг нас.

"Только подумайте! Удивительно! – говорила она, – Земля внезапно раскрывается, воздух сгущается и превращается в морские волны... Смотрите, смотрите! Вот волны уже видны и надвигаются на нас. Повсюду вода! Нас окружают тайны подводного мира!.." Она стояла уже на ногах и говорила с таким убеждением, в ее голосе звучало такое неподдельное изумление и ужас, а на детском личике отразились одновременно и безумная радость и страх, что в тот момент, когда она закрыла глаза обоими руками и с надсадным воплем рухнула на песок, вскричав: "Вот она эта волна!.. Она пришла!.. Море, море, мы тонем!.." – вслед за ней и все мы попадали ниц, отчаянно крича. Мы тоже искренне поверили, что нас действительно поглотила морская пучина и теперь нас уже нет в живых!..» (*Нэф М.* Личные мемуары Е.П.Блаватской. М., 2009. С. 32–34). Слова В.П.Желиховской из книги А.П.Синнетта «Случаи из жизни мадам Блаватской, составленные из сообщений ее родственников и друзей» (Лондон, 1886).

[64] Горбунов Осип Федорович – купец, саратовский городской голова (первая четверть XIX века).

все, дети и молодежь, отправились познакомить с ней Лизавету Яковлевну.

Туда мы дошли совершенно благополучно: ни одна собака даже не тявкнула на нас; но, к несчастью, никого не встретили – ни садовника, ни сторожа, так что некому было отпереть нам дом, и в него войти мы не могли. Звать мы не решались: все из-за тех же собак боялись возвысить голос. Вдруг где-нибудь отперта калитка! Они проникнут в сад прежде, чем кто-нибудь явится нам на выручку, и не будет нам спасения на открытом балконе...

Делать нечего! Мы показали нашей молоденькой гувернантке, что̀ могли снаружи, заглядывая в окна дома. Я обратила ее внимание на убранство столовой, выходившей сюда окнами; мне там особенно нравились картины: всякая живность, цветы и фрукты. Особенно прельщал меня разрезанный пополам арбуз, персики и виноград, о которых я говорила, что «они смотрят, как живые, и сами в рот просятся!»...

Но теперь возникал новый вопрос, новое затруднение: как возвращаться? Как избегнуть, выйдя на большой открытый двор, наших лютых врагов?.. Обыкновенно обратный путь был безопасен, потому что нас провожали; а в этот праздничный полдень люди разошлись или спали, только кругом ни души не было ни видно, ни слышно.

Приходилось с теми же осторожностями, молча, с замиранием сердца предпринимать отступление…

– И зачем вы не предупредили садовника, – шептала Лизавета Яковлевна. – Зачем подвергать себя опасности?.. Я так боюсь собак!

– Ничего!.. Авось не съедят! – отвечали ей.

– А если б вы видели, какие они огромные да лохматые! – не утерпела подразнить ее Леля.

– Тсс! – замахали мы все на них руками. – Молчите! Что вы?!.

Мы подходили к решетке сада. Вот вышли за калитку, в совершенной тишине пробрались вдоль ограды до угла и, минуя большую аллею въезда, быстро свернули в рощу на боковую тропу.

Тут мы вздохнули свободней: собаки видеть нас более не могли, – могли только услышать... Некоторое время мы это помнили, молчали и даже пугливо вздрагивали от всякой хворостинки, хрустевшей под ногами, от шума задетой нечаянно в чаще кустарника ветки. Но понемногу успокоились... Кругом такая тишина! Над головами нашими тихо стоят верхушки берез и кленов, вырезаясь клейкой молодой зеленью на голубом небе; под ногами рыхлая земля поверх прошлогодней бурой листвы покрыта, как ковром, молодыми папоротниками, отцветающими фиалками и расцветающими ландышами; в ярком воздухе, пригретом солнцем, аромат и свежесть чудные!..

Мы окончательно приободряемся, переглядываемся с торжеством и всем нам ужасно хочется рассмеяться и заговорить громко, вместо того чтобы сдерживать смех и только обмениваться улыбками и знаками предосторожности. Самые опасные места миновали, теперь мы близки к своей границе, к полной безопасности. Вот уж и наш забор виднеется из-за зелени; остается выйти на большую дорогу – и мы у своей калитки.

XVI
Ежик

Леля, Надя и англичанка впереди уже давно разговаривали, а я поотстала за сбором цветов. Мне хотелось набрать хороших два букета, чтобы подарить бабушке и m-me Пекер, страстно любивших цветы. Вдруг, при самом выходе из чащи, Леля ахнула и пригнулась, что-то разглядывая.

– Ах! Посмотрите, посмотрите, какой смешной! Как переваливается! Прячет мордочку! – кричала она.

– Шш!.. Тише! – бросились мы все к ней, с невольным трепетом оглядываясь на Горбуновскую дачу.

Но увидав, в чем дело, мы позабыли осторожность и все опасения, смеясь и громко совещаясь, как бы нам поймать маленького колкого ежа, свернувшегося комочком у корня березы.

– Ай! Колется!.. Как его схватить?

– Постойте, я расстелю платок, и покатим ежика на него! – предлагает Леля. – Вот, вот!.. За

кончики легко будет нести… Надя, помоги! Подкати его веткой.

– Вот палка! Вот, я нашла палку! – предлагает Лизавета Яковлевна, суетясь не меньше нас.

Я прыгала вокруг бедного ежа, то пускавшегося топотать, думая спастись бегством, то отчаянно втягивавшего мордочку и превращавшегося в мячик, и кричала, совершенно забыв об опасности вместе с другими.

– Ловите его! На платок! На платок!..

– Дайте-ка я его обвяжу... Ай! Как колется, противный... Побежал! Побежал! Каков?

– Держите его! Катите сюда!.. Я живо его завяжу.

– Не стягивайте так платка, Лизавета Яковлевна! – протестовала Леля. – Вы его душите!

– Да толстый такой! Взъерошился!.. Концы едва сходятся! – отвечала та, усердно завязывая, наконец, пойманного ежика.

– Как смешно весь платок иглами истыкан...

Я не кончила, пораженная громким лаем.

– Ай! Что это?.. Собаки! – вскрикнула Надя.

Схватила меня за руку и побежала к калитке, крича другим набегу:

– Бросьте! Бегите! Скорее! Вон собаки!

На миг все замерли в ужасе: три собаки, хрипло лая, свирепо пригнув косматые головы, неслись прямо на нас. Но мы уже были у нашего забора; за нами вмиг и Леля очутилась у спасительной калитки; но бедная наша учительница, присев спиной к собакам, их не видала и не обратила внимания на наши крики, увлекшись своим делом.

Только добежав и еле переводя дух, захлопнув за собой калитку, мы вспомнили о ней и с ужасом обернулись, ожидая увидеть ее растерзанною собаками... Боже мой! Жива ли она?.. Не придется ли нам подбирать ее косточки?..

Но нет... Вот она стоит неподвижно... Даже и бежать не думает!.. Стоит, прислонившись спиной к дереву, вздев ежа в платке на палочку и перекинув ее на плечо, и что-то бормочет, укоризненно глядя на окруживших ее собак, заливавшихся неистовым лаем. Страх и недоумение заменились на лице ее нерешительной, ласковой улыбкой; она покачивала головой и разговаривала, – да, решительно разговаривала со своими лютыми врагами!..

Мы от изумления так и приросли к земле, ожидая, что еще будет?!

Собаки начали мало-помалу утихать, успокоенные безобидностью своего противника, его неподвижностью, а быть может, и ласковыми речами. Одна собака широко зевнула, почесала себе лапой бок и, решительно повернувшись, пошла себе прочь. Другая подошла вплоть к Елизавете Яковлевне, и вдруг мы увидали, что она бесстрашно опустила руку и ласково треплет ее по косматой голове... Тогда и другая к ней приблизилась и села на задние лапы, втягивая воздух, задрав голову, почуяв, верно, ежика, но сидела смирно, будто и себе ожидая ласки.

Тогда ободренная девушка медленно двинулась с места; сначала сделала несколько нерешительных шагов в нашу сторону, потом пошла смелее... И собаки за нею пошли, но тихо, понурив головы, будто пристыженные ее речами. Она не переставала их усовещевать.

– Ах, душечки! Миленькие собачки! Разве так можно?.. Что же сердиться? Чего лаять? Ай-ай-ай, как стыдно!.. Вот теперь – умницы!.. Славные, добрые собачки!..

И, расхрабрившись, она свободной рукой то и дело гладила провожавших ее *чудовищ*, – чудовищами они казались нам доныне; да и теперь мы глазам своим не верили и страшно боялись, что они выскочат на нас, когда Елизавета Яковлевна отворит калитку.

Но решительная англичанка распорядилась с удивительной ловкостью. Она, приблизившись к выходу, стала к нему спиной, а лицом к собакам и, продолжая одушевленно проповедовать мир и спокойствие, вдруг проворно приотворила калитку, еще проворнее в нее прошмыгнула и крепко захлопнула ее перед носами собак, вероятно, чрезвычайно удивленных ее внезапным исчезновением... Они выразили свое удивление несколькими прыжками, лайнули два-три раза на воздух для очищения совести, потом повернулись и побрели спокойно домой, сладко зевая и потягиваясь по дороге.

Подвиг храброй и находчивой молодой учительницы чрезвычайно возвысил ее в нашем мнении.

Ежик благополучно прожил у нас под крыльцом более месяца и благоденствовал. Мы его

поили и кормили так усердно, что он растолстел и, вероятно, достиг бы старости, если б не совершенно оригинальный случай, причинивший ему кончину.

XVII
Как богиня свободы совершила убийство

Я выше говорила, что наша бабушка и старая гувернантка, обе, очень любили цветы. Обе ими бывали постоянно окружены. M-me Pecquoeur с раннего утра начинала перебирать свои букеты и сама, зимой и летом, в семьдесят лет, каждый день моясь с головы до ног ледяной водою, вместе всегда и свои цветы перемывала и так о них заботилась, что они у нее всегда казались свежими, только что набранными. Но бабушка их любила совсем иначе! Она не для того их собирала, чтоб только любоваться ими и наслаждаться их запахом: она их срисовывала, высушивала, определяла и составляла из них коллекции, – как я об этом уже говорила. Нельзя было не дивиться ее познаниям и искусству, но терпенью и силе воли ее каждый еще более подивится, когда я скажу, что, лишившись в старости употребления правой руки, вследствие ее перелома, бабушка Е.П.Фадеева научилась рисовать левой, да так прекрасно, что многие верить тому не хотели…

У меня и теперь есть два толстых тома оранжерейных цветов, нарисованных ею левой рукой. Она пристрастилась срисовывать садовые и тепличные растения, когда уже не могла сама гербаризировать, собирать их на дальних прогулках, на которые иногда и меня с собою брала. Она меня тоже учила ботанике и так сумела заставить полюбить ее, что большего удовольствия для меня не бывало, как *малевать* – именно малевать, потому что рисунками нельзя было назвать моих произведений, – красками цветы и собирать их на прогулках.

Итак, живя на даче, я всегда старалась набрать как можно больше растений для своей «бабочки»; но потом, подружившись с старой гувернанткой, и для нее, – благо поделить их букеты было не трудно. M-me Pecquoeur не нуждалась в разных травах, как бабушка, а только в красивых и пахучих цветах. У нее и зимой всегда цвели на окнах горшки цветов, и кроме того красовались клетки, где распевали канарейки.

Старуха нежно заботилась о своих птичках. Сама чистила их клетки, переменяла воду в их «ванночках» и кроме конопляного и канареечного семени держала в коробочках разный корм, собирала сама для них разные травки и все давала им и всыпала в разные отделения не иначе, как маленькой меркой.

С нею мы всегда возвращались из рощи и нашего цветущего оврага нагруженные снопами фиалок и ландышей, а позже – колокольчиков, ромашек и разноцветного шиповника, которого на полях в роще было множество всех цветов. M-me Пекер умела составлять удивительно красивые букеты, плести венки; она выучила нас из неувядаемых иммортелей делать корзиночки и разные вещицы. Я очень любила, нагулявшись, присесть в беседке или у нас на верхних балконах (мы, дети, с Антонией и гувернантками жили в мезонине), разбирать с нею цветы и слушать ее рассказы и бесконечные песни.

У нее было их множество и презанимательных. В особенности интересно рассказывала она об ужасах французской революции и о том, как ее заставили изображать *богиню свободы*. Прекрасно помню, какое впечатление произвел на нас впервые этот рассказ.

Было это в чудесный лунный вечер и, вероятно, в праздник, потому что были тут все наши близкие знакомые: Лемехова, и Гречинские, и Катя Зеллерт, дочь нашего учителя музыки. Мы все сидели на балконе в виду рощи и Волги, залитых сиянием месяца. M-me Пекер была в одном из своих добрых, словоохотливых настроений.

– Oui, mesdemoiselles[65], – ce fut un grand triomphe! Это было мое величайшее торжество!.. Представителями народной власти было решено, что для изображения «богини свободы» необходимо найти девушку не только красивую, но обладающую прелестью чистосердечия и скромности и в то же время с совершенным отсутствием последнего качества, – рассказывала наша старушка. – По мнению представителей народа, я соединяла все нужные качества, и вот меня

[65] О, барышни (*фр.*).

выбрали из сотни конкуренток... В назначенное утро у нашего порога остановилась великолепная, раззолоченная колесница в виде огромной раковины, в которую были впряжены шесть белых коней с позолоченными копытами, разукрашенные перьями, кистями и драгоценной сбруей. Меня одели в длинную белую тогу; на голову возложили золотой венец; великолепные мои волосы распустили по плечам…

Тут мы не могли не бросить невольно вопросительного взгляда на лысенькое темя и жидкие завитушки на висках m-me Пекер... Она заметила этот взгляд и, печально покачав головой, продолжала, не смущаясь:

– Eh chères amies[66]! Cela ne prouve rien!.. Это ничего не доказывает: нельзя прожить безнаказанно семьдесят лет!.. Время требует свои трофеи... Счастлив тот, кто оставляет ему лишь красоту внешнюю, сумев сохранить более драгоценные, нравственные качества – чистое сердце, светлый ум!

Мы поспешили успокоить ее уверением, что следы ее несомненной красоты и теперь очевидны, и она продолжала:

– Мою колесницу окружала блестящая процессия и сопровождали несметные толпы. Впереди шли двенадцать девушек в белом с миртовыми венками на головах и усыпали путь цветами. Каждого коня вел под уздцы великолепно одетый герольд. Я же одной рукой опиралась на опущенный победоносный меч, а в другой держала пальмовую ветвь – символ мира... О! мною овладело несказанное вдохновение! Я стояла в плавно двигавшейся колеснице сопровождаемая восторженными кликами народа, сама себя не чувствуя от восторга!.. Все нашли, что моя поза, мое вдохновенное лицо, мои глаза, подъятые к небесам, были безукоризненны! что лучшего изображения светлой богини нельзя было и желать...

– А как вы, верно, устали, стоя так долго, да еще с поднятой рукой и глазами, устремленными в яркое небо! – задумчиво заметила я, чем вызвала улыбки старших.

– О, нисколько! – решительно устранила m-me Pecquoeur такое несвоевременное замечание. – Как могла я чувствовать утомление, когда десятки тысяч глаз на меня смотрели? когда десятки тысяч народа мне рукоплескали?.. Да, я сама впоследствии изумлялась своей силе, – но меня что-то поддерживало!.. Вероятно, сознание великого значения возложенного на меня нацией представительства ободряло меня, вливало в меня силу и крепость физическую, вдохновляя духовно. Но никогда впоследствии, в самые счастливые минуты моей жизни, я более не ощущала такого опьяняющего, такого неземного, можно сказать, блаженства!.. Oh, c'est un beau souvenir!.. Это чудное воспоминание, которое никогда, ни даже в великий час моей кончины, меня не оставит.

Старушка замолчала и тихонько стряхнула долго ею сдерживаемые слезы, вместе с капелькой, висевшей на кончике острого носика... Большинство ее слушательниц переглянулось, улыбаясь недоверчиво и даже презрительно; но мне, хотя было неловко, но все-таки жаль было бедную, все пережившую старуху, которой в жизни не было более радостей, кроме далеких воспоминаний.

Все пошли провожать в тот вечер Гречинских, живших неподалеку на даче, а я осталась и долго расспрашивала нашу француженку о старине. Мы с нею, с этого времени, часто беседовали вдвоем; она меня охотно учила разным стихам, старинным песням и бесконечным балладам, с героями рыцарями-крестоносцами и прекрасными dames-châtelaines[67]. Такие романические баллады и романсы я гораздо более любила, чем смехотворные куплеты, вроде комического рассказа мужика о содержании оперы «La Vestale»[68] в полусотне куплетов, которые все пелись на разные голоса... Она знала таких множество и умела ими смешить всю нашу компанию.

Несмотря на все это, она была сердитая и взыскательная старуха, а потому у нее часто выходили неудовольствия, то что мы называли «истории», со старшими ее воспитанницами: с Надей, вовсе не желавшей признавать ее авторитета и имевшей на то полное право, и с Лелей, пока не имевшей никаких прав, но сердившейся на гувернантку еще гораздо чаще тети Нади и часто зло подшучивавшей над старухой, а еще чаще грозившей ей всевозможными бедами.

[66] Дорогие друзья (*фр.*).
[67] дамами, живущими в замках (*фр.*).
[68] «Весталка» (*фр.*) – опера итальянского композитора Гаспаре Спонтини (1774–1851).

Впрочем, зная вспыльчивый, но отходчивый характер сестры, ее угрозам никто никогда значения не придавал.

Однако раз вот что случилось.

За утренним уроком гувернантка прикрикнула на сестру, не помню из-за чего, но, вероятно, за дело. Елена отвечала ей дерзостью, та пожаловалась, и сестре крепко досталось... Тогда она еще больше рассердилась и грозила во всеуслышание, что она ей отомстит, – так отомстит, что «старая ведьма будет помнить!».

В тот же вечер, когда я уже засыпала, а старшие еще разговаривали и смеялись чему-то, в соседней комнате m-me Pecquoeur раздался пронзительный крик.

Все бросились к ней и увидали, что бедная старуха стоит в одной рубашке, вся сгорбившись, среди комнаты и трясется от страха, с ужасом глядя на свою кровать.

А надо знать, что она спала на высоко и мягко взбитом пуховике и имела привычку не тихо ложиться, как все старые люди, а ловко и быстро с размаху прыгала в перину. Мы часто удивлялись ее прыти, а сама она ею хвасталась, вызывая нас брать с нее пример – в семьдесят лет суметь сохранить столько силы!

Вероятно, она и в этот вечер поступила так же, не чуя беды; но подскочив и разом погрузившись в пуховик, в ту же секунду из него выскочила с отчаянным визгом, и теперь стояла в недоумении, со страхом глядя издали на смятую постель. Она не смела подойти к ней, потирая очень больно, чуть не до крови исколотый бок…

Мы видели, что с ней случилось что-то непонятное; но – что именно? Она, сама ничего не понимая, не могла нам объяснить... Тогда все разом подошли к ее кровати и увидали, что в самой середине пуховика, ближе к подушкам, лежал, свернувшись комком под простынею, наш бедный ежик.

Вспрыгнув на него всей своей тяжестью, она должна была сильно исколоться; но и он, бедняжка, крепко поплатился за то, что часок-другой тепло и сладко поспал не на своем месте. На другой день он еле двигался, ничего не ел, а дня через два умер невинной жертвой злой шутки…

Но кто сыграл ее с бедной старухой? – для нас это осталось загадкой, хотя Леля всем поверяла со смехом, что она «отомстила противной старушонке». Но именно потому, что она так хвасталась своим подвигом, а мы видели, что она была удивлена этим происшествием в первую минуту не меньше нас, мы не очень-то ей верили... У нее была удивительная страсть взводить на себя небывальщины – все это не раз замечали и удивлялись ее охоте представляться гораздо худшей, чем она была на самом деле.

Тем не менее, весь следующий день она бегала и, смеясь, торжественно сообщала всем своим подругам, как она «славно напугала Пекершу»...

– Разумеется, мне очень жаль бедного ежика! Я совсем упустила из виду, что она такая толстая, что бедненький поплатится жизнью! – рассказывала она. – Ну, ничего! Мы зато его торжественно похороним... А я даже воздвигну ему великолепный памятник – в своем собственном сердце. Он будет очень прочен и очень дешево стоить!

Однако, несмотря на похвальбу сестры, все мы были уверены, что не она, а Саня, горничная, очень не любившая нашу гувернантку, устроила ей эту штуку.

XVIII
Я делаюсь актрисой

Уж очень весело и шумно проводили мы зиму с 1843 года на [18]44-й год! Детские балы, детские спектакли и всякие удовольствия сменялись непрерывно; кроме того, нас начали учить танцам. Пригласили актрису Боброву – очень недурную для провинциальной сцены драматическую актрису, но как сталось, что она же оказалась и ученой танцовщицей, я не знаю! Тем не менее, она давала нам уроки танцев, не только обыкновенных кадрилей и вальсов, но и характерных всевозможных русских, качуч[69], болеро[70] и пр.

[69] Качуча – испанский сольный танец.

[70] Болеро́ – испанский народный танец.

Я оказывала большие успехи в этих плясках с кастаньетами и развевающимися шарфами, чем очень гордилась; но я была бы еще довольнее своим вновь проявившимся талантом, если б не насмешливое равнодушие к нему Антонии. Она очень легко относилась к старательному приготовлению мной *этих* уроков и умеряла сильно мои восторги, возбуждаемые общими похвалами моему искусству, насмешливыми замечаниями:

– Уж как бы хорошо было, если б ты перенесла свои старания отличиться на французскую грамматику или на священную историю! – обыкновенно замечала она, заставая меня за тщательным приготовлением уроков Бобровой.

Раз она меня огорчила до слез: отказалась сойти в залу полюбоваться, как я исполню репетицию качучи с кастаньетами, которую должна была через два дня танцовать в благотворительном детском спектакле... Уж и афиши были напечатаны; я уже двадцать раз с гордостью прочитывала свое имя в отделе *дивертисмента*: «Танцующие дети: В.П.Ган» и пр., и понесла показать эту программу Антонии; но она и к таким, для меня достопримечательным строкам осталась равнодушной и только сказала:

– Ну и прекрасно!.. Но я все-таки смотреть на тебя не пойду, потому что занята; а у тебя там столько будет ценителей твоих пируэтов, что ты, право, моего отсутствия и не заметишь!.. Постарайся лучше завтра за уроком русской грамоты или географии меня удивить.

Так и не пошла.

Она и на наши спектакли и частые детские вечера косилась, находя вредным такие излишества развлечений. Более терпима была она относительно маленьких наших домашних спектаклей на французском языке, устраивать которые m-me Pecquoeur была большая мастерица; Антония Христиановна находила, что это полезная практика, и раз нас рассмешила до слез, сказав, что очень сожалеет, что Елизавета Яковлевна не умеет сочинять английских комедий, чтоб мы разыгрывали их ради практики.

Сестра очень хорошо играла, но наши танцовальные вечера не особенно жаловала. Она находила, что с «девчонками танцевать скучно»!.. То ли дело детские балы в собрании! Это танцы веселые, со взрослыми гимназистами, а часто с *настоящими кавалерами*, приезжающими на тот бал, что начинается обыкновенно, когда детей увозят спать... Очень обидно было Елене уезжать с нами в одиннадцать часов, когда начиналось настоящее веселье. Часто удавалось ей с двумя-тремя сверстницами, такими же балованными, как и она, упросить старших остаться «еще немножко» и затанцоваться до поздней ночи.

В то же время я совершенно изменила свое дурное мнение о представлениях в театре.

Три года тому назад, когда я упросила, чтоб мама взяла меня в театр, я там заснула и с тех пор воображала, что там бывает очень скучно; но теперь тети, и с ними Леля, часто ездили и хвалили новых актеров, и меня очень заинтересовали своими рассказами. Вот я и упросила, чтобы меня взяли раз, на пробу, – как подсмеивалась Леля, уверявшая, что я опять засну. Но я не заснула, а страшно заинтересовалась пьесой, и с тех пор не давала никому покою своими просьбами взять меня в театр. Я тоже запоминала, со слов Нади и Лели, которые часто повторяли слышанное в театре, стихи и пела куплеты из разных пьес, воображая, что я произношу их с большим чувством. Меня очень обижал хохот старших над моей декламацией!.. Я с такими трагическими жестами, казалось мне, с такою торжественностью и слезами в дрожавшем голосе декламировала «Прощание креолки» или пела «Песнь Людмилы в тереме» (из «Аскольдовой могилы»[71]), что, по-моему, все должны бы плакать, – а они смеются!.. Тогда, решив, что меня оценить не умеют, я начала упражняться в сценическом искусстве скрытно, запершись где-нибудь одна в свободные часы.

Наша большая гостиная по утрам, в отсутствие гостей почти всегда пустая, служила мне для этого лучшим убежищем. Удостоверившись, что в смежных зале и диванной никого нет, я тщательно запирала туда двери и с любовью принималась актерствовать пред большим зеркалом, чтоб самой видеть свои жесты, выражение лица и быть уверенной, что *«хорошо играю»*.

Накинув на голову какой-нибудь черный платок, я усаживалась на скамеечку и, состроив

[71] «Аскольдова могила» – опера композитора Алексея Николаевича Верстовского (1799–1862) по одноименному роману писателя и драматурга Михаила Николаевича Загоскина (1789–1852).

«ужасное лицо», воображала себя колдуньей из оперы *«Аскольдова могила»*. Я водила палочкой по паркету и мрачно приговаривала:

«Варись, варись зелье на погибель людям!
Будь чужим отравой, своих не губи!..»

Или же, окутавшись старым тетиным газовым шарфом, изображала героиню драмы *«Креол и креолка»*; представляла себя не берегу моря и, став на одно колено перед своим воображаемым женихом, отчаянно простирая к нему руки, произносила трогательное прощание в стихах:

«Свершился жребий мой ужасный:
Мне вас уж больше не видать,
Но там, на родине прекрасной,
О вас я буду вспоминать...
Снесу я твердо все мученья,
В душе к вам преданность храня,
Но вы, – хотя из сожаленья, –
Не позабудьте здесь меня!»

Тут я закрывала лицо руками (оставляя только маленькую щелочку между пальцами, чтоб любоваться собой в зеркале) и «разражалась рыданиями»... Я знала, что должна была именно *разразиться* рыданиями; так сказано было в скобках в пьесе: *«разражается рыданиями»*.

Это *разражение* производилось мной с таким чувством, что вызывало на глаза действительные слезы. В эти минуты я наслаждалась и искренно считала себя великой артисткой.

Кончилось тем, что я, не довольствуясь виденными чужими пьесами, начала сочинять свои собственные. Помню, что в одной из них я изображала какую-то героиню во время кораблекрушения. Я должна была сначала отчаянно бороться с волнами; вплавь *догнать* корабль и, ловко вскочив одной ногою на край спасительной палубы, левой рукой обвив мачту, а правой придерживая на груди развевавшийся по воле ветра шарф, в такой грациозной, хотя не совсем удобной позе, доплыть до берега, где народ встречал меня громкими радостными кликами...

Почему народ радовался моему спасению?.. Почему, будучи так близко от берега, что его можно было достигнуть, *стоя на одной ножке*, я не плыла прямо к нему, а предпочитала догнать корабль, – это все были вопросы сторонние, которых я себе не думала задавать. Мне тогда все в этой оригинальной выдумке казалось и разумно, и удобно, и очень эффектно, до тех пор пока Антония в один прекрасный день, нечаянно войдя в комнату, не застала меня на полу в самом разгаре *борьбы с волнами*…

Она остановилась, пораженная изумлением.

– Вера! – вскричала она. – Да ты, кажется, с ума сошла?.. Чего ты барахтаешься по полу, как собачонка?

И она схватила меня за руку, которой я только что готовилась схватиться за мачту, и подняла с полу.

– Что с тобой?.. Посмотри, как ты выпачкалась и перемялась... Горячка у тебя, что ли?

В величайшем конфузе поднялась я из волн морских и тут только впервые усомнилась: не делаю ли я, в самом деле, непростительные для моих лет глупости?..

С этих пор я перестала представлять пьесы собственного своего сочинения; но декламировать чужие роли и страстно желать, чтобы мне когда-нибудь в наших спектаклях дали хорошую большую роль, – не перестала! Но их всегда отдавали старшим девочкам, а меня больше заставляли выступать в «танцующих детях»... Это очень меня огорчало.

Особенно раз было мне обидно.

Бабушка устраивала в пользу своего приюта для детей детский спектакль в зале Дворянского собрания. Выбрали прехорошенькую пьеску *«Слепая»*. Дело состояло в том, что богатая дама, взявшая к себе на воспитание слепую сиротку, неожиданно теряет все свое состояние, а в то самое время воспитанница ее получает наследство и умоляет ее как родную мать принять от нее все, что

она получила. В это время единственный сын этой дамы, окончивший блистательно науки молодой хирург, возвращается домой и тут же делает операцию слепой. Сцена счастливого прозрения, когда слепой впервые снимают повязку, очаровала меня!.. Я ее раз двадцать прорепетировала перед зеркалом для своего удовольствия, и каждый раз заливалась слезами сама над собой. Мне натурально казалось, что я заставлю рыдать и всех зрителей, что вообще превосходно сыграю эту главную роль... Но, увы! Когда я на общем распределении ролей заявила о своем желании ее сыграть, все рассмеялись, а Леля посоветовала мне отложить мое намерение на шесть лет, – так как роль эту должна была играть девочка от тринадцати до четырнадцати лет.

Это была правда; так и в книге было сказано; но я это упустила из виду... Я бы, пожалуй, и успокоилась, если бы не насмешки старших девочек, особенно Кати и Саши Бек[ето]вых[72], которым были с общего согласия присуждены обе первые роли. После, вспоминая их шутки, я поняла, что в них не было ничего особенно злого; но тогда я ими ужасно разобиделась.

Я жаловалась, говоря, что мне надоело танцовать, что я хочу тоже *говорить* на сцене…

– Ну, пусть я маленькая для роли слепой! Ну, пусть мне другую какую-нибудь хорошенькую роль дадут, – говорила я, – а то все какие-то глупые *немые* роли дают!

– Не хотите ли, Верочка, сыграть роль молодого доктора, оператора? – пошутила Саша Б[екето]ва, а Катя, ее старшая сестра, коварно заметила:

– Разве не все равно, какое увечье изображать?.. Вот мне дали сыграть *слепую*, а вам *немую*... Не все ли равно?.. По-моему, немота лучше слепоты!

И все начали смеяться их остротам и подымать меня на смех.

Я Бек[ето]вых никогда не любила, считая старших гордыми и самонадеянными, а с меньшими постоянно соперничая в разных знаниях и в особенности в танцах; а после этого совсем на них рассердилась, так что очень досадовала потом, когда все хвалили игру их и шумно аплодировали.

В глубине сердца я самонадеянно была убеждена, что я хоть маленькая, но гораздо бы лучше сыграла мою любимую сцену *«прозрения»*.

XIX
Свадьба тети Кати

К 24-му ноября, именинам тети Кати, m-me Pecquoeur устроила у нас дома спектакль, который меня утешил в моих неудачах. Мне в сочиненной ею пьеске досталась не только хорошенькая роль, но при поднятии занавеса мне первой приходилось говорить. Я изображала крылатого гения и очень этим гордилась.

На сцене был, изволите видеть, очарованный лес, где все жили гении, феи и амуры. Один прехорошенький маленький амурчик, в венке из роз и с золотыми крылышками, помню, все гонялся за бабочкой, которая, при помощи длинной проволоки, очень красиво перелетала с цветка на цветок. Я сидела на скале, увитой зеленью (сложенной из подушек с дивана, взгроможденных на столе), плела гирлянды из цветов и рассказывала о том, как счастливо все мы живем среди этих чудных рощ и дубрав, куда «никогда не смела проникнуть нога дерзкого смертного»... Вдруг блещет молния (Надя за кулисой сыпала на свечу воспламеняющийся порошок), гремит гром (мой *паж* Евгений Иванович за другой кулисой потрясал железным листом) и *«дерзкий смертный»* является на сцену… Это *путник* – в образе Лели, – одетый в расшитый блестками кафтан, в малиновом берете с белым пером; путник заблудился, спасаясь от грозы, и просит нас его приютить. Но мы, в ужасе от неслыханной дерзости «смертного», грозим ему, преследуем, опутываем его цепями из роз и привязываем его к дереву... Но вот является наша повелительница-фея и приказывает его освободить. Тогда мы все вместе поем и танцуем хороводы при свете бенгальского огня, после которого пришлось отпирать все форточки. Каждый куплет кончался немудреным припевом:

Chantons donc tous en choeur

[72] Бекетовы Екатерина Петровна (1830–?) и Александра Петровна (1831–?) – дочери П.И.Бекетова.

Le nom de Catherine,
Que ce nom enchanteur
Se grave dans nos coeurs[73]!

Все мы особенно радостно величали нашу дорогую тетю Катю именно в эти ее именины, потому что она только что была объявлена невестой. Жениха ее, Юлия Федоровича Витте[74], мы все, и старшие и дети, ужасно полюбили, потому что он был такой сердечный, добрый, искренний человек, что, зная его, нельзя было его не любить. Даже Лида, дичившийся чужих, скоро к нему привязался и, похаживая вокруг него, повторял, бывало, ласкаясь к нему: «Дядя Вита дуся, миля! Я дядю Виту любу!»

Мы радовались, что замужество нашей милой *тантиньки* (как называла ее Леля, производя это ласкательное прозвище от французского слова tante[75]) не грозит нам разлукой с ней. Юлий Федорович Витте служил в Саратове, а родная семья его была далеко. Будущим новобрачным приготовляли возле залы две комнаты; они должны были остаться не только в одном городе, но и в одном доме с нами, что было великим утешением бабушке, которой было бы очень тяжело расстаться с дочерью[76].

Суета в доме была страшная. Я перебегала по сто раз на день сверху вниз в каком-то ликовании и вечном радостном торжестве и совсем в последние дни отбилась от уроков. Меня ужасно занимали все приготовления к свадьбе: хлопоты бабочки, Антоньи, няни Насти, «бабы Капки», целыми днями все что-то закупавших, кроивших, гремевших ключами. В девичьей комнате шла усиленная работа, шитье, вышивание, глажение. Старик Пекер чуть не жил у нас последние дни перед свадьбой и почти не снимал белого фартука, распоряжаясь в кладовых и кухнях различными очень вкусными приготовлениями; а жена его, вместо уроков с нами, была занята изготовлением разнообразных – чудо каких красивых! – бонбоньерок для раздачи всем знакомым на свадьбе. Их были заготовлены целые подносы, этих хорошеньких ящичков, корзиночек и мешочков. Надя с Лелей были деятельными помощниками m-me Пекер; а у меня глаза разбегались, глядя на все эти прелести, потому что мне было позволено выбрать себе любую, а мне все были любы, все нравились!.. Наконец-то я остановилась на зеленом атласном чемоданчике, и так как мы все принимали лично горячее участие в заполнении их конфектами[77], то, разумеется, в мою бонбоньерку легло много красивых конфект.

Наконец, наступил и день свадьбы[78].

После тихого обеда, за которым были только свои, все разошлись по своим комнатам одеваться. Нас с Лелей нарядили в новые белые платья с розовыми поясами. Я не могла дождаться, чтобы нас скорей одели и выпустили, так хотелось мне видеть, что делается внизу. Но когда я сошла в приемные комнаты, там еще никого не было. Стол с образами и с хлебом-солью на

---

[73] И так будем петь хором прелестное имя Екатерины; да запечатлится оно в сердцах наших. – *Примечание В.П.Желиховской.*

[74] Витте Юлий Федорович (1814–1868) – начальник канцелярии кавказского наместника, заведующий департаментом земледелия и сельского хозяйства на Кавказе.

[75] тетушка (*фр.*).

[76] В этом отношении, как и во многих других, семья родных моих, со стороны матери, являет редкий, едва ли не единственный, пример родственного согласия и любви: Фадеевы и Витте прожили всю жизнь вместе, под одним кровом, неразлучно, в мире и в полном взаимном довольстве. – *Примечание В.П.Желиховской.*

[77] конфетами (*нем.* Konfekt).

[78] «*Месяц и день.* Генварь 7. *Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха и которым браком. Лета жениха.* Титулярный Советник, служащий по Министерству Государственных Имуществ, Управляющий Юго-восточною Учебною Фермою, находящаяся [в] Саратовской Губернии Новоузенского Уезда, Юлий Федоров сын Витте, Лютеранского исповедания, 1[м] браком, 29 [лет]. *Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание невесты и которым браком. Лета невесты.* Господина, состоящего в должности Саратовского Гражданского Губернатора, Статского Советника Андрея Михайлова Фадеева дочь Екатерина Андреева Фадеева, Православного исповедания, 1[м] браком, 24 [года]. *Кто совершал таинство.* Протоиерей Василий Павлов Полянский, Диакон Василий Петров Манив, Псаломщик Андрей Стефанов Виноградов. *Кто были поручители.* По жениху. Надворный Советник Николай Иванов сын Бер, Губернский секретарь Евгений Иванов Васильев. По невесте. Отец ее родной, Статский Советник Андрей Фадеев, мать ее родная, Статская Советница Елена Павловна Фадеева, Конной артиллерии Подполковник Петр Алексеев сын Ган» (Из метрической книги на 1844 год саратовского кафедрального Александра Невского собора // ГАСО, ф. 637, оп. 1, д. 1667. Л. 37об.–38).

серебряном блюде был накрыт в зале, лампы и свечи зажжены; но все тихо и безлюдно...

Я побежала к бабочке и увидала, что она вся заплакана... Тут я окончательно присмирела и направилась в буфет посмотреть, как там баба Капка со своими помощницами десерт готовит. Там все же было повеселее!

Наконец-то стали съезжаться гости: молодые девушки – одевать невесту, ее шафера и пр. Бабочка моя сошла вниз, спокойная с виду, приветливая, хотя следы слез были ясно видны на лице ее...

Я проскользнула в комнату тети. Ее причесывали; Леля вертелась, подавая шпильки; Надя стояла в дверях; мне показалась она тоже печальной или недовольной, – что-то очень серьезной...

Я недоумевала!.. Отчего ж это все вдруг огорчились?.. И сама тетя Катя все молчит и так сосредоточенно нахмурила свои черные брови... Меня все это очень поразило. Я думала, что свадьбы всегда очень веселые бывают, а тут все нахмурились... С чего же?.. Нечего и говорить, что я еще никогда не видывала свадеб.

Тетю одели, прикололи ей цветы и вуаль, и все вышли вслед за ней в залу. Я подошла к окну и увидала, что перед домом нашим и воротами собрался народ, а вся площадь и собор ярко освещены плошками... Я очень этим возгордилась: вишь-де, какая тетина свадьба парадная!..

Мои размышления прервал приезд шафера с большим букетом белых цветов, который он передал тете.

«Какой он добрый! – подумала я. – Какие чудесные цветы подарил тете Кате! Молодец!»

Я не докончила моего мысленного одобрения шаферу, заинтересовавшись церемонией благословения невесты... Ну, вот опять бабочка заплакала, обнимая тетю!.. Да и у тети, даже у самого папы большого, кажется, слезы блестят в глазах, пока он крестит ее и обнимает.

Вот тебе на!.. И с чего ж это они все расплакались?.. Мне даже стало обидно!

Наконец, все двинулись в переднюю, все стали одеваться... Пока нас усадили в карету и проехали несколько саженей[79] до собора, меня опять взяло нетерпение: все казалось, что мы опоздаем, что я не увижу церемонии венчания... Я успокоилась, войдя в полную народа ярко освещенную церковь, где тети еще не было. Она приехала вслед за нами, и тотчас начался обряд; но он мне показался бесконечным... Я едва выстояла и ужасно обрадовалась, когда он окончился и поднялась суматоха поздравления и разъезда.

Из церкви к нам приехало очень много гостей. Все поздравляли молодых, и бабушку, и дедушку, и всех нас почему-то; тетю все целовали, и вдруг все сразу повеселели, словно чему-то обрадовались.

«Удивительно! – размышляла я. – Сейчас плакали, а теперь вдруг все развеселились!»

Вдруг мне блеснула мысль.

«А-а!.. Верно, они прежде боялись, что свадьбе что-нибудь помешает?» – сообразила я и тотчас же сообщила свои догадки Леле.

– Какие ты глупости говоришь! – презрительно пожала она плечами и ушла.

Тогда я направилась со своими вопросами к Антонии: отчего дедушка и бабушка, когда благословляли тетю, – плакали, а теперь смеются?..

Антония не удивилась – она привыкла к моим неожиданным вопросам, – а засмеялась и отвечала, что в жизни так часто бывает: люди плачут не от одного горя, а от многих чувств разом...

– Они плакали от волнения, – объясняла она. – От боязни за счастие тети Кати.

Но я не унималась.

– Ну и что ж? Чего же они теперь радуются, а не плачут? Разве после венчания они сейчас убедились, что тетя *будет* счастлива?

– Ах! Какая ты несносная с своим приставанием! Ну, разве теперь мне время с тобой вопросы решать?.. Погоди до завтра, – успеем поговорить.

И Антония тоже ушла, не разрешив моего недоумения.

– Хорошо же! – порешила я. – Завтра у бабочки спрошу... Уж бабочка-то все мне расскажет!

И я побежала в залу тоже поздравить тетю, выпить за ее здоровье шампанского, которое там

[79] Сажень – старорусская единица измерения расстояния, равна 2,13 м.

подавали, и делать дальнейшие наблюдения.

XX
Мои фантазии и занятия

Вообще с того, десятого, года моей жизни я стала глубже вдумываться во все меня окружавшее; мировоззрения мои, прежде не переходившие черты нашего дома и семьи, да немногих лиц, с ними соприкасавшихся, – расширились. Я чаще начала думать о «чужих» и о «чужом» – далеком, что творилось вне моей собственной жизни; я сделалась очень наблюдательна и полюбила все разбирать и сама себе объяснять: сделалась, по определению старших, *«рассуждающей»*, и прозвище *«назидательной азбуки»* еще сильней за мною упрочилось.

Но, несмотря на проявившуюся склонность умничать, я все же была во многом преглупой девочкой и пребольшой трусишкой, сочинявшей себе везде чудеса и страхи. Частые раздумья о том, как живут и что делают те множества людей, которых я не вижу и не знаю, что делается по всему свету в чужих странах и далеких городах, которых мы не можем видеть, – привело меня к предположению: а может и возле меня есть такие вещи, о которых я не имею понятия, потому что их не вижу и не слышу?..

Прекрасно помню, что на такие размышления меня навела беседа взрослых, услышанная мной, когда я раз вечером пришла проститься с родными и незамеченная остановилась за креслом бабушки, вслушиваясь.

Разговор шел об отвлеченных вещах, которых я понять ясно не могла, но сообразила после; о том, все ли в природе может быть доступно пониманию, изучению и даже просто зрению людей?..

И вот тут дядя Ростислав сказал слова, запечатлевшиеся в моей памяти навсегда.

– Никогда! – вскричал он. – Всему есть пределы! Все познавший человек уж был бы не человек, а Бог... Я уверен, что вокруг нас, в постоянной близости от человека, в вечном общении с ним есть множество такого, чего он не может ни слышать, ни видеть.

Кто-то спросил: почему же так? Как может статься, что мы вокруг себя *не все видим*?

И опять были сказаны слова, мне памятные!

– Потому что наши глаза и слух недостаточно тонко развиты... Разве могут иметь понятие о человеке и человеческом существовании миллиарды пресмыкающихся, живущих между нами. Ведь они не слышат и по большей части не видят нас, пока мы их не тронем. Да и мы сами, разве видим миры инфузорий простым глазом?.. Если бы не было микроскопа, разве бы мы поверили, что каждая капля воды для инфузории такой же мир, как для нас земной шар?..

– А что это такое – инфузория? – не утерпела я возвысить голос и тем открыла свое присутствие, за что и была немедленно отослана спать.

Хотя на другой день, по моему обычному требованию, мне было объяснено, что такое инфузория, но, тем не менее, они долго мне представлялись чем-то фантастическим, и на основании их невидимого нам существования я еще больше утвердилась в возможности существования множества, измышленных мною, сказочных созданий. У других детей пугала бывают навеяны рассказами волшебных сказок, запугиваниями нянек; они боятся одиночества, темноты, сами себе не выясняя, что в них есть страшного? Я же, напротив, почти ничего не боялась и даже любила вступать в воображаемую борьбу со своими невидимыми противниками и, разумеется, всегда оставалась их победительницей…

Меня, например, долго преследовали две фантазии. Я была уверена, что меня сторожит за каждой дверью невидимка-монахиня, которую я одна увижу, *если оглянусь* на нее, и тогда *она меня схватит*!... Я не определяла, что именно тогда со мной станется, но в этом представлении, как она обхватит меня своими «длинными, холодными руками в широких черных рукавах», воплощался такой ужас, что я холодела при одной мысли об этой возможности…Я страшно боялась *«монахини»*, но вместе с тем непонятный мне самой вздор подстрекал меня нарочно проходить темными комнатами. Я не бежала, зная, что убежать нельзя; притом я знала также, что моя преследовательница безвредна, если я не оглянусь… Меня томило любопытство! Мне ужасно хотелось ее видеть, а вместе с тем я торжествовала, что не даю ей возможности поймать меня, и пока я шла, минуя каждые двери, пытливо вглядываясь в каждую щель между стеной и левой

половиной дверей, – монахиня всегда стояла слева, – воображая, что вижу блеск ее черных глаз, – я все время мысленно ее поддразнивала: «Ага-де! Вот я не оглянусь! Вот ты меня и не смеешь тронуть!»

А другая фантазия была гораздо забавней.

Ложась спать и просыпаясь утром, я себе ясно представляла, что по карнизу стены за кроватью у меня гнездятся десятки маленьких, уродливых и колобродливых созданий, вроде гномов, – которых постоянным намерением и чуть ли не единственной целью жизни было непременно достать мою руку, схватиться за нее, влезть по ней до моего уха и прошептать что-то... И вот это-то *«что-то»* было нечто нехорошее, опасное для меня, чего я не должна была знать; а потому я даже пугалась и быстро отдергивала, просыпаясь, свою руку, если во сне ее забрасывала через край кровати… Пугалась-то я пугалась, а между тем мне опять-таки доставляло удовольствие их дразнить. Я нарочно спускала руку, чтоб *они* ее видели, но не могли достать, и шевелила пальцами, посмеиваясь, потому что живо представляла себе, как *человечки* подпрыгивают, вытягиваются, громоздятся, вспрыгивая друг другу на горбы и шеи, употребляя всевозможные хитрости и гимнастические усилия, чтобы уцепиться за мои пальцы. Я так ясно видела в своем воображении их смешные фигурки, гримасы и ужимки, фантастические группы, которые они из себя образовали, громоздясь один на другого, словно фигляры-гимнасты, – что мне не раз случалось удивлять присутствующих громким смехом, причину которого я не могла им объяснить.

Вместе с тем я пристрастилась к чтению, и так как мне покупаемых для нас книг и журналов далеко не хватало, то старшим часто приходилось у меня отнимать книги, которыми я зачитывалась без позволения... Русских детских книг в то время почти не было. Я помню только один журнал «Звездочку», который считался моей собственностью, вместе с историей России Ишимовой[80], и доставлял мне большое, но кратковременное наслаждение, так как я проглатывала его в один день. Французских было больше. Я и теперь вспоминаю с удовольствием прелестные рассказы и картинки журнала *«Le dimanche des enfants»* или *«Les enfants peints par eux mêmes»*[81]. Но гораздо еще большее наслаждение доставляли мне книги, не *собственно* для детей писанные, как сказки Пушкина[82]. Я *«Царя Салтана», «Спящую Царевну», «Гусара»*, летавшего на Лысую гору, и т.п. знала на память в десять лет, а уж со *страшными* рассказами, с его *«Утопленником»*, с *«Пиковой дамой»* (как немного позже с гоголевским[83] *«Вием»* и другими) я носилась, готовая их без конца читать и перечитывать, запрятываясь, чтобы Антония не отняла у меня запретных книг, в самые невозможные места... Раз произошел целый переполох, потому что меня нигде не находили к обеду; а я забралась на чердак с толстым томом сказок Гофмана, который стянула у тети Нади, подсела на балку у слухового окна, да так зачиталась, что и о времени позабыла.

От Антонии мне очень часто доставалось; ей очень хотелось, чтоб я поменьше воли давала воображению, а побольше занималась «полезными» вещами; а я училась хорошо только тем предметам, которые занимали меня, о которых я потом *думать* могла, и терпеть не могла машинальных работ или «зубрежки». Читать историю, записывать на память прочитанное – я очень любила; но заучивать года, имена, числа – было для меня мучением!.. Арифметика – была мое пугало: дальше 4-х правил во всю жизнь я не пошла! А что всего удивительнее – зная *грамотно* три языка, я никогда не в состоянии была одолеть ни одной грамматики... Такая бесталантность в правильном учении теперь была бы гибельна; но в то время так строго не относились к женскому образованию; при домашнем воспитании экзаменов не требовалось – это спасло меня.

Та же исключительность сказывалась во мне и относительно рукоделий: я только те из них любила, которые меня занимали прямым приложением их к делу. Я охотно шила куклам платья, шляпки; но терпеть не могла бесцельных вязаний, вышиваний и фабрикаций никому не нужных поддонников, закладочек и т.п. дребедени. Последних Антония Христиановна, великая искусница во всевозможных работах, впрочем, и сама недолюбливала. Она была сторонницей полезных

[80] Ишимова Александра Осиповна (1804–1881) – детская писательница, переводчица, издатель.
[81] «Детское воскресенье», «Дети рисуют самих себя» (*фр.*).
[82] Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – поэт, драматург, писатель.
[83] Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) – писатель и драматург.

работ, шитья, кройки, вышивания, а разные маленькие ouvrages d'agrément[84] считала напрасной тратой материала и времени. Зато она привила мне привычку, которая впоследствии оказалась очень и очень полезной: приучила меня каждый вечер записывать в нескольких словах, что случилось со мной в течение этого дня. Это занятие для детей очень хорошее, потому что приучает задумываться над своими поступками, уже не говоря о том, что формирует слог и учит правописанию… Я бы теперь не могла бы так свободно вспоминать старину, если б на всю мою жизнь не приобрела этой привычки.

XXI
Мой братец начинает куролесить

Несмотря на мои «рассуждения» и более серьезные занятия этого времени, я, в сущности, долго еще была ребенком. Любила играть, несмотря на строгие запрещения, со своими прежними «адъютантами» – дворовыми девочками, и даже пошалить со своим братишкой. Леониду шел пятый год. Он был здоровый, сильный мальчик, бойкий и капризный. Ужасно любил кататься в санках, весь дрожал от счастия при виде лошадей, но не прочь был и в салазках по двору прокатиться.

Я и сама очень любила и радовалась, когда вместо чинной прогулки по улицам мне позволяли поиграть с ним на дворе, побросаться снежками, покормить голубей, а потом, усевшись в крохотные салазки, взяв брата на колени и крепко держа его, катить по блестящему снегу, подгоняя горничную или кого бы то ни было, кто брался нас повозить. Чем быстрее бежала наша *лошадь*, тем труднее было мне удержать толстяка, так он дрыгал ногами и рвался из рук от восторга, что сам правит, – ему всегда вручали в руки веревочку-вожжи.

Но раз случилось происшествие, после которого нам долго не позволяли бегать по двору на воле.

Наша старенькая няня Настя редко ходила с нами на мороз; почти всегда ее заменяла Аннушка, нянчившая Леонида, когда мы жили с мамой и отцом в Малороссии. Но раз почему-то вместо нее с братом послали молоденькую девушку Саню, а она заблагорассудила выйти за ворота, оставив брата на мое попечение, и тут-то, против всякого вероятия, пострадала я, а не он.

Устав бегать с ним, я присела на один из высоких боковых выступов крыльца, а Лидочка начать прыгать со ступенек, пресмешно почти каждый раз падая на четвереньки...

Игра ему так понравилась, что он и меня стал уговаривать заняться тем же, только советуя, так как я была *большая*, прыгать не со ступеней, а с края выступа, ничем не огороженного. Чтоб вернее убедить меня, что он вовсе не высок, что спрыгнуть с него в снег очень удобно, он влез сам на выступ. Я испугалась и схватила его за руку.

– Что ты! Что ты!.. Разбиться хочешь?.. Ведь упадешь!

– Не упаду! Дай посмотреть... Я только немножко вниз хочу посмотреть! – капризным голосом просил он.

– Ну, так тихонечко!.. Смотри, близко не подходи.

Говоря это, я подвела его осторожно к краю и сама, стоя ближе, а его крепко держа за руку, проговорила:

– Вот, видишь, как высоко!.. Здесь можно даже убиться, не только что ноги переломать.

Но он упрямо продолжал уверять, что здесь вовсе не высоко, и упрашивал меня спрыгнуть.

– Отстань с глупостями, Лида! – отговаривала я. – Вот еще буду я пробовать разбиваться!..

– Да ты ни за что не разобьешься… Ну, право же, здесь и ушибиться нельзя. Вот только попробуй, как хорошо!

Мне бы надо отойти и его увести с выступа, но я зазевалась на въезжавшие в эту минуту в ворота сани и, выпустив его руку, соображала, кто бы это был: свой или чужой кто-нибудь?.. А глупый мальчуган в эту минуту как размахнется да как толкнет меня!.. Сам от размаха покачнулся и сел, шлепнувшись, на выступ, а я как стояла, так и слетела с него в снег.

Смех и радостное хлопанье в ладоши глупого малыша сразу превратились в отчаянный рев,

[84] работы ради удовольствия (*фр.*).

когда он увидел, что на крик его: «А что, спрыгнула?.. Ну, вставай же! Иди сюда опять прыгать!» – я не встаю, а поднявшись на локоть, в голос сама плачу от боли.

Подъехавший в эту минуту гость выскочил в испуге из саней, поднял меня на руки и внес на лестницу и в дом. Леонид шел за нами переваливаясь и голосил во всю мочь, кулаченками вытирая пухлые, покрасневшие от мороза щеки.

Все сбежались на его крик и очень удивились, что он невредим, а все дело во мне.

Меня уложили в постель и сейчас же послали за доктором Троицким. Нога у меня распухла и крепко болела, но, к счастию, оказалась не сломанной, а только вывихнутой. Мне поставили пьявки, и я пролежала недели три. Хотя сильная боль унялась, как только забинтовали ногу, но накрахмаленный бинт, который не позволил мне ею шевелить, измучил меня хуже всякой боли.

Всякое утро Лида являлся ко мне с вопросами:

– Ну, что? Встанешь ты сегодня?.. Не болит больше нога?.. Пойдешь со мной играть?

И узнав, что это еще невозможно, начинал потихоньку всхлипывать, мостился ко мне на кровать и целовал меня, плача неутешно.

– Так зачем же ты не слушался ее? Зачем столкнул сестру, гадкий мальчишка? – шутя, укоряли его. – Вот видишь, что наделал: как больна бедная Вера!

– А я разве знал? – недовольным голосом мычал он в ответ, докрасна натирая глаза и мокрые щеки. – Я только хотел, чтоб она научилась высоко прыгать, а она вон взяла да ногу сломала!..

И плач его неизменно переходил в рев, если только я сама не спешила его утешить и рассмешить.

Леонид только с этой зимы в моих глазах приобрел право гражданства: до этих пор я в нем видела нечто похожее на игрушку; игрушку, которую я и все очень любили, но которая сама по себе человеческого значения не имела... Заставив меня проболеть, он будто бы доказал мне свою самостоятельность и заставил на себя обратить должное внимание.

Он действительно был бойкий и забавный мальчишка. Больше всех нас сразу он привязался к нашему новому дяде Юлию Федоровичу, которого презабавно называл, коверкая его фамилию, не иначе как «дядя Вита».

Дядя *Вита* и сам нас всех любил, как родной отец, но с Лидой, как с маленьким, возился больше всех. И брат до того к нему привязался, что радостно бросался к нему навстречу, как только дядя показывался, и от него ни за что уходить не хотел. Он уверял, что дядины колени его лошади, а сам он такой дядя, какого больше на свете нигде нет! Когда его спрашивали, почему он так думает, он отвечал: «Оттого, что он мне вожжи дает, когда я в санках катаюсь!..» Как все мальчики, он только и думал о лошадях да кучерах. Верховая езда ему не так нравилась. У него были большие лошади, разукрашенные побрякушками и перьями, но он скоро ломал их, срывал с них стекляшки и раздаривал дворовым девочкам «на сережки»... Самому править ему гораздо больше нравилось.

Раз за обедом его почему-то спросили: желал ли бы он быть генералом?

Он отвечал без запинки:

– Нет… Я лучше хочу быть Богом.

Все рассмеялись.

– Ишь, чего захотел!.. Богом нельзя быть.

– А если нельзя, так пусть я буду полицейским или жандармом.

– Это после Бога-то?.. Отчего же непременно полицейским?

– Потому что они, когда много народу, всех разгоняют, чтобы кучерам больше места было, и так хорошо кричат, чтобы кареты и сани подавали... А еще лучше бы...

– Что такое?

Наш мальчишка лукаво, исподлобья оглянул всех, потом уставился на улыбающегося ему дядю и так и расцвел приятнейшей улыбкой. Видно было, что то желание, о котором он теперь размышлял, было самое заветное и ему дорогое.

– А больше всего на свете я бы хотел быть дяди Витиным кучером! – объявил он.

XXII
За ночными бабочками

Вспоминая о многих наших удовольствиях, я еще не рассказала о ловле ночных бабочек. Сестра моя уж много раз участвовала в этих интересных экскурсиях, но меня никогда не брали до моего одиннадцатого года. Этим летом я выпросила себе и Клавдии Гречинской, гостившей у меня, позволение идти «с большими», и помню, что мы с ней готовились к этой ночной прогулке как к чему-то необычайному, таинственному и даже опасному. Во всех знакомых нам волшебных сказках или рассказах путешественников о приключениях на необитаемых островах не осталось ни одного происшествия в лесу, которого бы мы с нею не вспомнили, на все лады стараясь применить возможность того же приключения и с нами в эту ночь.

Собственно говоря, никакой ночи в лесу нам не предстояло, потому что мы шли в десять часов, а возвратиться должны были не позже первого; но мы с Клавой об этом и мысли не допускали и очень бы рассердились, если б кто-нибудь нам так сказал. Мы были убеждены, что с нами случится столько неожиданных приключений, что мы непременно запоздаем до утра...

Мы с ней даже порешили тотчас после обеда уйти наверх и лечь спать, чтобы собраться с силами к предстоявшей трудной бессонной ночи. Нечего и говорить, что сколько мы не старались закрывать глаза и надувать одна другую сонным видом и легкими всхрапываниями – все наши усилия не приводили ни к чему: ни заснуть, ни надуть друг друга нам не удавалось! То она, то я украдкой смотрели в полглаза и, открывая взаимное коварство, не могли сдержать улыбок... В детстве от улыбки до смеха, увлекательного, заразительного, – недалеко!.. Затея наша кончилась тем, что старшие пришли усмирять нас, уверяя, что мы таким образом, не дождавшись ночи, всех ночных бабочек распугаем...

Этот день нам казался бесконечным. От нетерпения я даже не могла допить чашки вечернего чая… Наконец-то смерклось. Мы то и дело бегали на балкон сторожить полет летучих мышей. Нам сказали, что «как только летучая мышь разрежет воздух крылом», – пора будет собираться, потому что за нею тотчас повылетают из своих убежищ все ночные бабочки. Под карнизом нашего балкона, в толстых его, пустых внутри колоннах, с которых лепные украшения и штукатурка так и сыпались, ютилось много летучих мышей, и вот едва всполохнулась и промелькнула одна из них своим неровным полетом, мелькнув, словно темная молнийка, мы и сами с Клавдией заметались как угорелые, громкими криками возвещая, что «уж залетали!.. Уж залетали! Летают!..»

– Уж хоть бы вы-то летать перестали! – прикрикнула на нас няня Настя, укладывавшая Лиду спать. – Дайте ребенку заснуть! Экие неугомонные!..

Надя, Леля, Машенька Лемехова и старшие Гречинские пошли за своими сетками, и все вышли на балкон, где пили чай дедушка с бабушкой, тетя Катя, дядя и их гости.

Дедушка, увидав нас и целую вереницу людей под балконом, ожидавших нашего выхода, засмеялся и сказал:

– Ой-ой-ой! Какое большое ополчение!.. То-то будет избиение невинных младенцев!

А бабушка, по желанию которой и устраивались такие ночные и денные экспедиции на мотыльков, встала со словами:

– Нет, зачем же? Без нужды истреблять не будут: Надя и старшие девушки знают, какие бабочки мне нужны, – я им давеча показывала.

И, сойдя с крыльца, она еще раз повторила свои инструкции. Всех нас оказывалось человек по крайней мере двадцать. Горничные девушки несли, как и мы, сетки на длинных палках и картонные коробки с пробковыми днами для накалывания бедных жертв, не доставших еще в бабушкиных коллекциях. Мужчины были вооружены фонарями и палками. Впереди шел Фока, наш кучер, освещая шествие большим фонарем, а сзади казак, тоже с фонарем и с нагайкой в руках.

Глядя на эти орудия обороны – дубинки и нагайки, я подталкивала Клаву, убежденная, что все это заготовлено против могущих встретиться диких зверей, а может и разбойников, и шептала ей успокоительно:

– Ничего! Нам нечего бояться! Смотри, сколько с нами мужчин с палками... Справятся со

всяким врагом, – кто бы на нас ни напал, человек или зверь!

– Да ты что воображаешь? – расхохоталась надо мной Леля. – Ты думаешь, что эти палки на защиту нам?.. Это просто будут по кустам и деревьям бить, чтобы бабочки с них скорее слетали.

– Я очень хорошо знаю! – поспешила я прилгнуть в свое оправдание. – Разве нельзя пошутить?

Ночь была тихая, теплая, темная. Свет звезд не рассеивал мрака под деревьями в роще, куда мы тотчас пошли, а только таинственно переливался в просветах между ветвями в глубокой высоте. Яркие полосы изумрудного цвета убегали в обе стороны из-под фонаря; впереди и в этих лучах то и дело пробегали звездочки – перелетные мотыльки, кружившиеся в их свете.

Мы шли в молчании, стройно, не спеша. Одно из правил для успешной ловли бабочек ночью – тишина и спокойствие, чтобы их до времени не распугивать.

Жутко мне было смотреть по сторонам в глубокий мрак рощи. Я старалась забыть все эти хорошо знакомые места и вообразить себя в неведомом глухом лесу, потому что мой невольный страх, когда мне приходилось проходить с краю, мурашки, иногда пробегавшие по спине, при мысли об опасностях, которыми я сама себя запугивала, – мне были очень по душе...

Вдруг в арьергарде кто-то из девушек взвизгнул.

– Ай-ай!.. Ох! – вскрикнули и другие...

Общий переполох.

– Что такое? Чего вы?.. Что случилось?

– Да наступила на что-то... Никак – змея!

– Уж и змея!.. Какие тут змеи? Глупости городишь, Мавруша! – прикрикнули на виновницу этой сумятицы.

Разумеется, никакой змеи не было, а просто длинный, цепкий сучок захлестнулся ей за ноги; но этот первый испуг послужил поводом к новым крикам и смятенью. С одной стороны кричат:

– Ай! Заяц!..

С другой:

– Ай, батюшки! Волк!

– Какой волк?.. Глупые! Наша Жучка! Жучка нас догнала, а вы – волк!

– А это кто кричит? Послушайте: никак сова?.. Да, сова!

Из темной чащи кустов раздавалось мерное: «Угу! Угу!..»

Но когда к кусту подошли с фонарями, из него со смехом выпрыгнула Леля.

– Вот какая сова!.. Эх, вы! Трусишки, трусишки!.. Вас всем напугать можно! – смеется она надо мною и Клавдией, хотя мы храбро уверяем, что совсем ничего не боимся и сейчас узнали ее голос.

Наконец вот и цель нашего похода: осьмиугольная[85] беседка на столбах, с куполом и перилами, внутри выкрашенная белой краской; у беседки сходились шесть дорожек из разных сторон рощи. Здесь мы зажгли все бывшие с нами фонари, разостлали на средину пола белую скатерть и расставили фонари по краям, а сами расположились вокруг по стенкам с сетками наготове.

Мужчины сошли вниз и начали палками шарить по кустам и деревьям, выпугивая из них бабочек, и без того слетавшихся отовсюду на яркий свет фонаря.

Слеталось-то их много, но поймано не ахти сколько! Уж очень ретиво все мы сразу бросались ловить их и сетками и платками, распугивая бедных ночных летуний, трепетавших крылышками на скатерти. Никто из нас в пылу желания отличиться, наловить их побольше, не внимал разумным советам более опытных ловцов – просьбам Веры и Матрены, старших горничных бабушки, умолявших не толкаться, не набрасываться, дать им приметить тех бабочек, на которых им бабушка указывала на рисунках, которые ей нужны...

– Да, может, таких и нет совсем? А мы ждать их будем – и других не поймаем!

– Ах! Как можно, чтобы не было?.. Бабушка знают... Они не стали бы говорить... Беспременно есть, да только вы им подлететь не дадите.

Уговаривали нас, меньших, и тетя Надя, и Ольга Гречинская, но мы никого не слушались – я,

[85] восьмиугольная (*устар.*).

Клавдия и Вера Гречинская, самые буйные из всей компании... Впрочем, и старшие, в особенности Леля, увлекаясь, суетились, толкались и хохотали не меньше нас.

Дела было сделано мало, зато смеху и удовольствия много, – а для нас это было главное!

Тетиной горничной Матрене удалось поймать великолепную коричневую бабочку, такую огромную, что мы ее приняли за птицу, когда она ее накрыла и та забилась под тюлевой сеткой. Вслед за ней прилетала и другая, еще больше... Все на нее накинулись с радостным криком, но она оказалась летучей мышью. Вот тут-то было крику, визгу и беготни!

Одна из молодых горничных замотала ее в сетку и ну гоняться за другими, грозя ее посадить им на головы...

– Выпусти ее! Выброс в кусты! – кричали на нее со всех сторон.

– Разве можно с гадиной так шутить?

– Она как вцепится в волоса, так ведь не оторвешь... Придется с прядью волос так и отрезать! – рассказывала Верочка Гречинская.

– О?.. А если в тело она вцепится?

– Ну и с телом придется вырезать, разумеется – уверенно пугнула нас Леля. – Ай! Вера!.. Другая возле тебя пролетела!

– Хорошо! Хорошо!.. Сама берегись, чтоб летучая мышь носа тебе не откусила.

Я теперь уж не верила сестре как прежде и часто ей «сдачи давала».

Часа полтора бегания, махания сеткой и усиленных движений, наконец, притомили меня.

– Знаешь что, Клавочка, – шепнула я своей любимой подруге, – пусть их толкутся, а мы присядем на крыльцо, отдохнем, – надоело!

– Ну что на крыльце сидеть! Лучше пройдем вон туда, – махнула головой Клава на одну из аллей. – Свет этот глаза режет; а мы там на скамеечке в тени посидим; ты не боишься?

– Ну, вот! Чего там бояться в нашей роще? – расхрабрилась я, чувствуя, однако, то маленькое замирание сердца, которое очень любила сама в себе возбуждать всякими небывальщинами, называемыми на нашем детском жаргоне «страхами».

Однако, сидя, крепко обнявшись, на скамейке под черной-черной тенью деревьев, ни мне, ни Клавдии не хотелось сообщать друг другу «страхов», хотя они у меня, да и у нее тоже, думаю, во всех видах мелькали в уме. Ведь тут раздолье было для воображения!.. Мы так ушли в себя, что не слыхали говора и шума в беседке, не видели ее яркого света, а лишь чутко прислушивались к тишине леса, к шепоту деревьев над нашими головами и зорко всматривались в темноту чащи... Чего-чего только не могло твориться там, за таинственной завесой мрака, в сокровенной лесной тиши!..

Не ручаюсь, чтобы мы, углубляясь в размышления о таинственных страхах, которые могли нас окружать, маленько не вздремнули... Знаю только, что мне трудно было встать, когда мы услышали громкие призывы из беседки:

– Верочка?.. Клавдия?.. Где вы?.. Идите, домой пора!

Я не совсем помню обратный путь: до того хотелось мне спать, что он показался мне бесконечным… Зато и заснула же я в ту ночь без всяких снов, едва голова коснулась подушки!..

XXIII
Бал в беседке

Павильон этот самый памятен мне происшествием, случившимся тем же летом.

Антония давно обещалась мне устроить детский вечер в роще в награду за мои успехи – уж не помню, в каких премудростях. У нас с ней были какие-то заповедные пять рублей, разумеется, ассигнациями, т.е. меньше, чем полтора рубля по-нынешнему; но тогда все было несравненно дешевле, да и проще люди жили, не знали такой роскоши, какая теперь завелась. Мы с ней рассчитывали на эти пять рублей пир горой устроить. Дней десять заранее я составляла списки многочисленным гостям своим и реестры угощениям. Но последние оказались до того обильны, что Антонии пришлось умерить мои расчеты представлением, что всего этого и на десять рублей не накупишь… Но я не унывала.

Был у меня верный оплот во всех затруднениях, «скорая помощница», – бабочка моя милая,

и на нее-то я и рассчитывала. Разве могла она не принять участия и не принесть своей лепты в таком важном для меня деле?.. Разумеется, она ее принесла!.. И такую значительную, что в ней утонули наши малые средства, как тонет капля воды в большой ложке варенья. Она не только восстановила все угощения, зачеркнутые в списках благоразумною рукою Антонии, но заказала еще ужин и велела в городе нанять хорошего шарманщика, который бы разные танцы хорошо играл.

Мой вечер удался как нельзя лучше, и сначала я веселилась, как и все мои подруги. Но вдруг на меня напал какой-то *стих,* словно бесенок какой-то в меня вселился – и бесенок преглупый! Вздумала я заважничать, разыгрывать из себя хозяйку дома: на людей покрикивать, с некоторыми гостями чересчур любезничать, с другими обходиться с высоты моего величия... Совсем дурочку из себя разыграла! Но тогда я этого никак не думала, а напротив, воображала, что я удивительно мила и умна.

Я беспрестанно бегала вниз в липовую аллею, где хозяйничала баба Капка, разливая чай и рассылая в беседку подносы с угощениями. Там я покрикивала на прислугу и суетилась, словно без моих распоряжений никто ничего и сделать не сумеет.

Раз я, сбегая с крыльца, раскачала нечаянно один из бумажных фонарей: он вспыхнул, чуть не зажег столб, перепугал танцевавших. Мальчики, гости наши, бросились тушить и руки себе пожгли, – особенно Аркадий Гречинский, – что меня очень переконфузило и огорчило, но спеси с меня не сбило. Напротив, я с горя и от конфуза пренеприлично раскричалась на Якова, нашего буфетчика, пожилого человека. Я, вся красная, запыхавшись, бежала обратно в беседку, как вдруг услышала за собою насмешливые голоса:

– Comme elle s'en donne! Как она важничает, Боже мой! – смеясь говорила Тосси Бек[ето]ва[86], мой враг, с которой мы то и дело пикировались, хотя она была гораздо старше меня и умнее. – Что она из себя сегодня изображает… Большую барыню, кажется?

– Ну, полно! – заметила ее почти взрослая сестра. – Какую там *большую* барыню? Просто – *маленькую* дурочку!

Это замечание меня взорвало. Я не успела ничего сообразить, обернулась и злобно отрезала:

– Что ж! Уж лучше быть *маленькой* дурочкой, чем *большою* дурой!

Сестры не отвечали мне ни слова, как и подобало благовоспитанным барышням; но говорили мы по-французски, а на беду неподалеку стояла m-me Пекер… Мне крепко досталось за мою грубость.

Сгорая злобой и желанием мщения, я вернулась в беседку, но танцовала рассеянно, без удовольствия, все раздумывая: как бы мне отомстить Теофилии Бек[ето]вой? Началась мазурка. Она со своим кавалером села против меня, а я, со злобой на нее глядя, размышляла, что, ишь-де, меня укоряет, что я корчу grande dame[87], а сама-то кого изображает? Развалилась! Кокетничает! Противная кривляка! Постой же ты мне!

И вдруг, вздумав, как отмстить ей, я встала возле ее стула и в ту минуту, как она пошла танцовать, вколола в мягкую спинку его огромную булавку, согнув ее концами наружу.

– Вот же тебе! – с коварной радостью подумала я, устроив своему врагу эту пытку. И весело вмешалась в танцы.

Но… Боже мой! Что из этого должно было выйти!

Совершив этот подвиг, я сначала следила за своей жертвой, сторожа, когда она, по своей привычке, отбросится на спинку стула и хорошенько уколется; но ее, как нарочно, все выбирали, и она танцовала без устали. Растанцовалась и я... Растанцовалась, развеселилась и совершенно позабыла о своей каверзе.

Когда я вспомнила о ней, стула, на котором сидела Тосси, не оказалось уже на прежнем месте: произошло всеобщее перемещение, мазурку танцовали уж решительно все, перемешавшись в веселой толкотне; а стулья понемножку исчезали, уносимые в аллею, где был накрыт стол для ужина. У меня мелькнула было мысль, что надо разыскать *мой* стул и вынуть из него булавку; но в разгаре веселья я тотчас же об этом забыла.

---

[86] Макарова Феофила Петровна (урожд. Бекетова, 1832–?) – жена Валентина Михайловича Макарова, мирового посредника Волынского уезда.

[87] знатную даму (*фр.*).

Шарманка заливалась, над беседкой стон стоял от смеха и веселого гомона; напрасно старшие поглядывали на часы, напрасно баба Капка подсылала лакеев возвещать своим присутствием на крыльце с салфетками на руках, что ужин готов; напрасно Антония мне внушала, что бедный шарманщик устал и сама шарманка охрипла, – мы не внимали ничему. В критическую минуту я, Леля, даже многие гостьи наши бросались к «верному оплоту и скорой помощнице» – бабушке; та, ласково покачивая головой, но все же улыбаясь, махала рукой на ключницу и буфетчика, а музыка и танцы продолжались с новым одушевлением.

Наконец, уж около часу ночи нашему шарманщику коварно приказано [было] изменить веселый темп мазурки на торжественный марш, и все мы, пара за парой, направились к накрытому столу.

Усталая, счастливая своим веселым балом, болтая с кавалером, я побежала к первому попавшемуся месту и, совершенно забыв теперь хозяйские обязанности, с размаху бросилась на стул, восклицая:

– Ах! Как жарко!.. Ой! А-ах!

Мое восклицание перешло в невольный крик от нестерпимой боли.

Но, поняв в чем дело, я подавила стон, отчаянно закусила губы и, сдерживая слезы, попыталась выпрямиться. Не тут-то было! Коварная булавка, мною самой обращенная в удочку, разодрав мне лиф и тело, согнулась и пришпилила меня к спинке стула.

– Что с вами? Что с тобою? – бросились ко мне мои соседи.

Самолюбие заговорило во мне сильнее боли.

– Ничего! – пробормотала я, стиснула зубы и рванулась с места.

Но в ту же секунду невыносимая боль осилила меня. Забыв всякое достоинство, я залилась слезами и побежала, закрыв руками лицо, невыразимо страдая от каждого движения. Кое-как добрела я до дома, до своей комнаты. Нечего и говорить, что бабушка, Антония, тетя и многие другие пошли вслед за мной испуганные. Меня раздели и ахнули, увидав, как крепко засела у меня в плече булавка, поддев платье вместе с телом, а сначала так разодрав мне кожу глубокой царапиной, что вся рубашка была у меня в крови.

Удивлениям, соболезнованиям и расспросам не было конца. Меня утешали, звали ужинать, уговаривали и ласкали; но я, заплаканная, внутренно сгорая стыдом, в смертельном страхе, чтоб не узнали, чтоб как-нибудь мне самой себя не выдать на посмеяние, никого не хотела видеть, ни с кем говорить. Я разделась и окончательно улеглась в постель, но долго не могла заснуть, предаваясь горестным размышлениям и горькому раскаянию в своей глупости.

Пришла Леля с Надей, ночевавшей у нас Машенькой Лемеховой и моей милой Клавой, забежавшей со мной проститься. Все они участливо заглядывали мне в лицо, но я притворялась спящей и с головой от них закрылась одеялом.

– О! Если б они знали! Если б только Леля узнала! – содрогаясь, думала я. – Не дай же Бог!

К великому моему успокоению моей тайны никто узнать не мог. Все только дивились, какой глупый человек мог воткнуть в спинку стула булавку? И все меня жалели... Много лет спустя я сама рассказала своим, как за свою злость была справедливо казнена собственным оружием.

Глава XIV
Кто в свет, а кто со света

Как только мы в этом году переехали с дачи, я стала замечать, что бабушка, Антония Христиановна и няня Настя чем-то особым озабочены: совещаются, размеряя фланель, полотно, коленкор, кроя какие-то маленькие вещи, словно готовя приданое какой-нибудь большой кукле. Я спрашивала несколько раз, чем это они заняты? Но получала от Антонии и няни ответы, меня совсем не удовлетворявшие:

– Не твое дело. Не мешайся, куда тебя не спрашивают.

– Скоро все будешь знать – скоро и состаришься.

Но я была догадлива и, увидав раз в руке Антонии крошечный батистовый чепчик с кружевцами, который она только что кончила, я запрыгала вокруг нее, радостно крича:

– Ah! Je sais ce que c’est! Je sais ce que c’est!.. Знаю, что это и для кого: у нас будет сестричка!

Маленькая сестричка! Тети Катина дочка!

Она пыталась унять мои восторги, но я бросилась опрометью к бабушке и кругом нее произвела ту же пляску вприпрыжку под аккомпанемент тех же возгласов, на которые пришла сама тетя и, смеясь, задала мне вопрос, сразу усмирившей мои радостные излияния:

– Почему же ты думаешь, что сестричка?.. А может быть – братец?

Я так и окаменела от неожиданного соображения, которое меня неприятно поразило. Братец?.. *Опять* братец, когда у нас Лида только что подрос... Нет! Это не входило в мои расчеты. Это скучно!.. То ли дело, если б у нас была маленькая девочка, которую можно было бы одевать в розовые платьица с оборочками, в шляпки с цветами и перьями... Я так и положила, что у меня будет новая сестричка, и никаких возражений слышать не хотела.

С восторгом, мечтая о чем-то вроде большой живой куклы, я раскладывала вещицы, заготовляемые искусными руками Антонии; свертывала мягко простеганные одеяльца в форму ребенка и носилась с ними, воображая, что баюкаю дитя, представляя себе, как оно плачет, а я его успокаиваю песнями и ласковыми словами.

– Allez donc! Grande fille de dix ans que vous êtes[88]! – смеялась надо мной Антония. – Не воображаешь ли ты, что тебе дадут нянчить ребенка? Играть с ним как с куклой?

– Не играть, – обидчиво возражала я, – а конечно я буду его нянчить... Бабочка мне сказала, что я его буду крестить.

– Хороша крестная маменька, которая своему крестнику не сумеет чулок связать, нечего сказать!.. Чем с пустым одеялом носиться, лучше вяжи полоску для его же одеяльца, которую я тебе вчера дала... Кажется, как я ее начала, так она и осталась?!. Ни одного ряда не прибавилось!.. Вот так нянюшка и крестная мать!.. Тебе дитя поручать, а ты всего только и сделаешь, что под стол его уронишь.

– Никогда! – в негодовании отражала я безжалостные нападки Антонии. – Я совсем крошечная девочка еще была, когда Лида родился, а мне все же несколько раз позволяли его носить по комнате и баюкать.

И я уходила от нее недовольная, но все-таки принималась вывязывать заданную работу... Антония меня изучила превосходно и знала, чем меня взять. Познав мою не столько совестливую, как просто самолюбивую настойчивость в выполнении того, что я сама признавала для себя обязательным, она всегда умела поймать меня, связав обещанием; а раз я дала слово что-нибудь сделать, я делала это, как бы ни трудна и ни противна мне была эта работа. Этим способом она достигала своей цели научать меня многому, чему бы я иначе не выучилась.

Итак, вскоре, на радость всем и на мою утеху, в семье нашей вновь появилось новорожденное дитя. Хотя оно действительно оказалось не девочкой, а мальчиком Люсей, но я скоро утешилась в этом факте, горячо полюбив голубоглазого, беленького, прелестного мальчика, названного в честь дедушки Андреем[89]. Но имя Андрюша, все смягчаясь и укорачиваясь, незаметно превратилось в Дрюшу, Люшу и Люсю, – да так и осталось.

Снова появилась и старая моя знакомая, вскормившая Леонида, кормилица Ольга; она приняла теперь его двоюродного братца, тоже отданного ей под верховным попечением «бабушки Насты». Все в доме называли эту старушку «бабушкой»; все мы ее любили и уважали не как няню, а как родного члена семьи. Люся был последним в роде, которого понянчила наша добрая, милая няня.

Совсем уже больная, слабая до того, что с трудом могла стоять на ногах, она все же не позволяла отодвинуть от себя его колыбельку и покачивала ее ослабевшей, прозрачной, как воск, рукою. А когда кормилица нянчилась с ним, няня ревниво следила потухавшими глазами за ее движениями, боясь, хорошо ли пеленает она, нежно ли обходится с ее последним питомцем.

Медленно угасали жизненные силы в этой маленькой старушке, состарившейся и одряхлевшей на долголетней, ежечасной, ежеминутной службе своим «господам» – старым и малым, без исключений и без предпочтений, с постоянно одинаковой любовью, с одинаково неустанной, беззаветной преданностью даже до гроба!.. И «господа» – старые и малые, тоже без

[88] Полно вам! Какая большая девочка десяти лет (*фр.*).

[89] Витте Андрей Юльевич (1844–1847).

исключений, окружали ее заботами и ласками; и все, если не с одинаковой силой, то с одинаковой искренностью, болели за нее и горевали по ней.

Много дней слова «бабушке хуже» или «а бабушке нынче, слава Богу, лучше» волновали всю семью нашу, то радуя, то печаля нас поочередно... Мы, дети, разумеется, более развлекались; да нас старшие в последние дни и не допускали до нее, но Надя от нее не отходила ни днем, ни ночью. Никого смерть «бабушки Насты» не огорчила так глубоко, как меньшую тетку нашу, горячо любившую свою старую няню. Она крепко и долго тужила по ней.

Мне даже помнится, что именно с того времени – со второго великого горя своей жизни – Надя сильно переменилась, сделалась совсем сериозной[90], взрослой барышней.

XXV
Я делаю неуместное замечание

В ту зиму я не запомню ничего, о чем стоило бы рассказать, кроме разве одного комического случая, где я сделала глупость, очень всех насмешившую.

Между многими знакомыми, часто навещавшими нас, был в Саратове старик князь Об[олен]ский, большой знаток классической литературы, сцены – «da la haute comédie»[91], как он сам выражался, – и любитель громкого чтения[92]. Как это часто бывает с любителями, он воображал, что читает превосходно, но другие того не находили... Тем не менее, бабушка и тети считали себя обязанными из любезности иногда слушать его чтение, сопровождаемое жестами и самой невозможной мимикой. Когда князь увлекался какой-нибудь сценой, он входил в положение героя так живо, что воображал себя им самим, и чтение его превращалось в игру. Надо сказать, что он был небольшого роста и далеко не красив, что иногда еще более увеличивало комизм его чтений, – в особенности, если герой, которого он думал изображать, должен был, в сущности, быть молодым и красивым, а уж тем более, если то была героиня.

На своих чтениях князь требовал безусловного внимания, неподвижности и тишины; иначе он жестоко оскорблялся и потом долго сердился.

Я говорила уже, что обожала все, что относилось до сцены, особенно торжественные тирады героев и героинь. Высокопарная манера князя читать мне собственно очень нравилась, и я бывала очень счастлива, когда мне позволяли оставаться при его чтениях. Но вот как ужасно я раз погрешила против него и его строгих требований.

В один зимний вечер князь, пообедав у нас, расположился рано, как только дедушка ушел отдохнуть, прочесть какую-то драму, от которой он сам был в восторге. Благодаря предстательству[93] бабушки, мне позволили тоже присутствовать. И вот я подсела на диван к ней поближе, взяла ее за руку и приготовилась слушать внимательно.

Но против обыкновения, утомилась ли я в тот день, или уже чересчур скучны были бесконечные монологи героя и однообразен голос чтеца, только – небывалая вещь! – я немножко вздремнула…

Меня внезапно привело в себя визгливое восклицание князя Об[олен]ского. Я сразу очнулась, подняла голову и вся обратилась в внимание.

---

[90] серьезной (*устар.*).

[91] высокой комедии (*фр.*).

[92] «Другой помещик, князь А.Н.Оболенский, был также большой оригинал во многих отношениях, хотя совсем в другом роде. Когда-то он служил в военной службе, в колонновожатых, но давно уже поселился в деревне и под старость отличался своею ученостию и эксцентричностью. Он знал все на свете, и если иногда не слишком много, то хоть немножко, вследствие чего его и называли в Саратове “ходячей энциклопедией”. В числе прочего, он знал также и музыку и разыгрывал на фортепиано какие-то необыкновенные пиэсы, для которых мало было двух рук, и потому он помогал им своим носом, довольно длинным, и тыкал им по клавишам весьма проворно. Кроме того, он всегда занимался изобретением разных премудрых вещей, например, фабрикацией масла из тарантулов как осветительного материала. Словом, он был чудак большой руки, что не мешало ему быть в то же время очень добродушным человеком и любезным, занимательным собеседником. Жена его, рожденная княжна Голицына, в молодости славилась красотой, а два его сына, прекрасные молодые люди, князья Сергей и Николай, большие приятели моего сына Ростислава, служили у меня к канцелярии» (*Фадеев А.М.* Воспоминания. 1790–1867 гг. Одесса, 1897. Ч. I. С. 185–186).

[93] покровительству.

Пьеса была, несмотря на многие эффекты ее, прескучная и презапутанная, но я совсем не старалась понять ее сути: меня занимали только перемены тона, завывания и жестикуляции маленького черного старичка, вертевшегося передо мною.

Дело шло о том, что некий благородный герой, защитник невинности и каратель всяких зол и преступлений, ретиво выводил на свет какое-то злодейство, уговаривая и других помогать ему. Но отвращение зла требовало не только мужества и власти, но больших сумм – несметного богатства. И вот герой оказывается Крезом[94] и торжественно объявляет зрителям, что он страшно богат, а потому имеет возможность поправить беду, наделанную его врагами-злодеями. Однако недоверчивая публика видно ему не доверяет, от него требуют доказательств.

«Как? – громовым голосом вскричал князь, обводя всех нас презрительным взглядом. – Как, презренные трусы, вы не верите силе моей и могуществу?.. Вы смеете требовать доказательств?!»

Мы напряженно слушали и смотрели на князя, притаив дыхание.

Вдруг стул его с громом полетел на пол, он вытянулся на каблуках и, еще раз обведя всех нас гневным, требовательным взглядом, начал медленно склоняться к нам.

Я обмерла, чувствуя себя безмерно виноватой, с замиранием сердца ожидая, что будет...

«А-а! – прошипел он. – Вам нужны доказательства? Хорошо!»

Он медленно запустил руку в карман своих панталон, сжал что-то в кулак и с торжеством вытянув ее обратно, докончил, разжимая руку:

«Вот доказательство моего богатства!.. Смотрите же! Вот оно!»

Среди мертвого молчания все глаза невольно обратились на раскрытую ладонь князя.

– Дырявый кошелек! – невольно прошептала я.

Дружный взрыв смеха прервал натянутое молчание, а бедный князь, который ожидал совсем другого эффекта, побагровел и быстро спрятал в карман свой вязаный старый пустой кошелек.

Как ни упрашивали его потом бабушка и тети окончить чтение, как ни притворялись очень заинтересованными окончанием драмы, – он не хотел больше читать. Сконфуженный и сердитый, он все повторял:

– Ну, понятно! Какое же чтение, если дети нас будут слушать?

Меня, разумеется, побранили и прогнали из гостиной, но больше по настоянию Антонии, которая вообще не любила, чтобы я сидела при гостях с большими. Но никто в этот раз на меня не сердился; все поняли, что я без всякого злого умысла с превеликим удивлением засвидетельствовала, что видела, – поразивший меня дырявый кошелек. Сами тети соглашались, что гораздо больше меня были виноваты, не совладав с своим смехом, несмотря на бабушкины нахмуренные брови и укоризненные взгляды.

Впрочем, князь был незлопамятен и недолго на нас сердился.

XXVI
Иногородние знакомые

Князь Об[олен]ский не всегда жил в Саратове, а приезжал из деревни; как и многие помещики тогдашнего времени, славившиеся гостеприимством и привольным житьем в своих богатых селах, он очень любил принимать у себя гостей, а потому, когда князь зимою приезжал в город, все и ему были рады. Тем более что он был презанимательный и очень образованный человек. Бабушка, сама знавшая, кажется, все, что можно знать на свете, говорила, что князь Об[олен]ский настоящий справочный лексикон. Он, кроме всего, был отличный музыкант, великолепно играл на рояле, а для забавы своих друзей умел проделывать на нем удивительные фокусы: там, где не хватало рук, он помогал себе носом и преловко клевал им по клавишам.

Был еще один знакомый и для нас, детей, очень интересный, приезжавший из деревни. Это был толстый-претолстый богатый помещик Закревский, всегда веселый, отличный рассказчик и чудесный актер[95]. Он всю жизнь путешествовал, все видел и всех знал. Театр он любил до страсти,

[94] Крез (595–546 до н.э.) – последний царь Лидии, правивший в 560–546 гг. до н.э. Считается, что Крез одним из первых начал чеканить монету, установив стандарт чистоты металла (98% золота или серебра) и гербовую царскую печать на лицевой стороне (голова льва и быка). По этой причине он слыл в античном мире баснословным богачом.

[95] «Андрей Дмитриевич Закревский, совершенно светский остроумный весельчак, провел бóльшую часть жизни

и так как был очень образованный человек и великолепно знал языки, то, не стесняясь, играл и устраивал спектакли везде, во всех чужих городах, где ему случалось жить, вследствие чего искусство его имело большую известность. Говорили, что содержатель какого-то большого театра в Париже, не зная, что он богатый человек, предлагал ему выгодные условия, чтоб он с ним заключил контракт и поступил актером на его сцену.

С летами он угомонился, поселился в деревне, но все же не разлюбил играть. Бабушка воспользовалась его умением и просила его устроить благотворительный спектакль в театре в пользу ее приюта для бедных девочек. Давали пьесу *«Бал у банкира»*[96] и еще какой-то водевиль; а играли множество наших знакомых и сама тетя Надя, которую Закревский и бабушка насилу упросили. Она ни за что не хотела играть. Хотя она очень любила театр, но не любила ни выездов, ни балов, ни танцев и всегда избегала больших обществ. Но на этот раз она должна была уступить просьбам матери и показалась мне такой красавицей на сцене, что я пресерьезно ей говорила, что непременно бы пошла в актрисы на ее месте... Вообще, никто не мог больше меня принимать участия, суетиться и сердечно восторгаться подробностями этого благотворительного спектакля и его устройства. Считки, репетиции, игра актрис и актеров меня волновали не менее, чем самого Закревского. О! Как я ему симпатизировала, как восторгалась его игрой, как сожалела, что мне не семнадцать лет, как тете Наде...

Иногда знакомые приезжали к родным моим из других городов гостить целыми семьями. У нас всегда всем находилось место, особенно летом, когда мы жили на даче.

Вскоре после моего бала в беседке, так плачевно для меня окончившегося, к нам приехали в гости старые знакомые родных моих – семья астраханского военного губернатора, И.С.Темирязева[97]. Они переезжали в Петербург и по дороге прогостили у нас на даче несколько дней. Сам генерал Темирязев был очень красивый, еще не старый человек; жена его[98], высокая-превысокая барыня, страшно строго обращалась со своими детьми, особенно с девочкой, Ольгой[99]. Старшей мальчик Саша[100] и самый меньшой Федя[101] совсем не были похожи один на другого. Федю, меньшого, коренастого, здорового мальчишку, я сразу полюбила; он был славный, веселый шалун, всегда одинаковый – при старших и без них. Саша, напротив, совсем изменялся при матери, на которую был похож всей своей тоненькой фигуркой, изысканными манерами и лицом. В двенадцать лет он уж из себя корчил jeune homm'a[102], тщательно завязывал галстучки и застегивал узенькие курточки, готовясь поступить в лицей и непременно быть дипломатом… что

в Париже, где порасстроил свое значительное состояние. Одаренный необыкновенным редким сценическим талантом, он приводил в восхищение всех своей игрой на домашних спектаклях, особенно в комических ролях, к которым очень шла его шарообразная, немного неуклюжая, но чрезвычайно подвижная фигура. В Париже ему тоже случалось отличаться на домашней сцене, и однажды его игра так пленила директора одного из Парижских театров (кажется "Variété"), что тот немедленно предложил ему поступить к нему на сцену с жалованием в 30 тысяч франков в год; узнав, что Закревский богатый человек, директор взял с него слово, что в случае, если он когда-нибудь разорится и будет нуждаться в деньгах, то непременно воспользуется его предложением. Закревский обещал, но, хотя отчасти подорвал свои средства веселыми развлечениями парижской жизни, однако не до такой степени, чтобы променять звание русского дворянина и помещика на французского актера. Возвратясь в отечество, он засел в своей саратовской деревне уже навсегда. Изредка он приезжал в Саратов по делам. Раз, в день имянин моей жены, 21 мая, он приготовил ей сюрприз, составив у нас в доме маленький семейный театр. Он выбрал старую комедию князя Шаховского "Не любо, не слушай, лгать не мешай", себе взял роль старой тетушки Хандриной и, переодетый в женское платье, представил комическую старуху с таким неподражаемым совершенством, что наверно такая Хандрина никогда не являлась и на столичных сценах. Потом он играл еще с таким же успехом в благородном спектакле, устроенном Еленой Павловной в пользу детского приюта, основанного ею в Саратове, коего она была попечительницей, и, кажется, этим закончил свою сценическую деятельность, занявшись исключительно своим хозяйством и мистицизмом, к которому, вразрез с своей живой, веселой натурой, питал большое влечение» (*Фадеев А.М.* Воспоминания. 1790–1867 гг. Одесса, 1897. Ч. I. С. 184–185).

[96] «Бал у банкира» (1835) – комедия-водевиль в одном действии французских драматургов Ш.Варена (1798–1869), А.Шапо (1794–1851) и П.-М.Мартина (1798–1863).

[97] Тимирязев Иван Семенович (1790–1867) – генерал-лейтенант, астраханский губернатор (1834–1844).

[98] Тимирязева Софья Федоровна (урожд. Вадковская, в первом браке Безобразова, 1799–1875) – жена И.С.Тимирязева.

[99] Тимирязева Ольга Ивановна (1831–1897) – фрейлина двора (1866), пианистка.

[100] Тимирязев Александр Иванович (1837–1895).

[101] Тимирязев Федор Иванович (1832–1897) – пианист-любитель, саратовский губернатор (1879–1881).

[102] молодого человека (*фр.*).

ему не мешало делать гримасы вслед гувернантке, а матери раз даже сделать преуморительную сцену из-за того, что ему пришлось проглотить прием какого-то лекарства.

Ольга Темирязева была бледная, кроткая девочка лет одиннадцати. Она вначале мне не понравилась, показалась недотрогой и ужасно манерной «воображальщицей». Это на моем языке значило, что она много о себе думает. Но после мне стало жаль ее. Нас удивляло, что такая большая девочка не смела шевельнуться, не смела сказать слова без разрешения гувернантки; за столом она не смела недоесть того, что ей без разбору клала на тарелку гувернантка, не смела ничего ни сама взять, ни попросить. Такая строгая дисциплина возмущала меня, избалованную и – что говорить – порядочно своевольную девчонку.

Зато наша m-me Pecquoeur была в непритворном восторге от этой «charmante enfant, si sage, si bien elevée»[103]. Она долго после их отъезда ставила ее нам в пример; но я без церемонии спорила с ней, уверяя, что из них самый лучший – добрый, смелый, искренний мальчик – маленький Федя.

– А старшие очень похожи на детей советника, родственника Бракелей, в сказке Гофмана *«Неизвестное дитя»*, – определила я. – Совершенно такие же цирлих-манирлих! Tirés à quatre épingles[104], как те господчики, вымуштрованные, словно куклы на пружинах. Не люблю я таких.

Следующим летом у нас опять гостила целая семья, которая мне гораздо больше понравилась. Это были бабушкины родственники, генерал Э.Ф.Брюгген[105], женатый на ее двоюродной сестре. С ним тоже была жена его Елена Ивановна, ее сестра, пожилая девушка, и две маленькие дочери, Сонечка и Эмма.

Соня была болезненная девочка лет шести, над которой мать и тетка дрожали постоянно; а меньшая сестренка ее смотрелась молодцом и была большая крикунья. Я больше любила забавлять Эммочку, потому что она была веселей и забавней. Раз я им показывала картинки, какую-то грошовую книжонку с картинками из Священного Писания. Соне лубочные картинки не понравились. Она хлопнула ладонью по одной из них и сказала, что это «гадкая книжка!».

Я ее благоразумно остановила:

– Хоть в этой книге и некрасивые рисунки, но так бранить ее и хлопать не годится, потому что в ней о Боге рассказывают.

Но Соня продолжала капризно кричать, что это гадкая книжка, и, наконец, огорошила меня ответом, что ей нет дела до русского Бога, потому что она немка...

Я пришла в негодование и начала горячо убеждать ее, что Бог один для всех народов, – но мои убеждения плохо действовали, а я из-за этого имела глупость сердиться на такую крошку.

А когда Соня топнула ножкой и сбросила мою книжку со стола с криком: «Гадкая книжка! Гадкие картинки!», я так вспылила, что хлопнула ее пребольно по ручонке.

Соня раскричалась, за нею и Эммочка.

На дружный плач их прибежала испуганная Анна Ивановна, их тетка, а потом и мать их и моя тетя Катя и насилу разобрали сущность нашего богословского спора... Все подтвердили истину моих показаний и, кроме тети, никто меня не бранил; но, тем не менее, мне было очень стыдно, потому что я прекрасно поняла, куда метила Анна Ивановна речью, обращенной будто бы к маленьким племянницам:

– Разумеется, милосердый Бог один и учение христианское тоже, оно всех одинаково учит быть добрыми, любить друг друга, как родных братьев и сестер. Бог велит нам жалеть друг друга. Старшим – велит учить меньших правде, но велит также сильным и большим никогда не обижать маленьких и слабых... Всем велит быть кроткими, ласковыми… особенно детям – между собою.

Мне тогда же стало очень совестно своей вспыльчивости; но нет слов выразить, как тяжело мне было вспомнить о ней потом, когда вскоре по отъезде семьи Брюгген мы узнали о смерти маленькой Сонечки!..

Воспоминание о ее слезах, о ее красной ручонке долго преследовало меня.

Антония, с которой я говорила об этом со слезами, советовала мне молиться, чтоб Господь простил мой неразумный гнев; но я, кроме того, помню, долго, каждый вечер, на молитве

---

[103] очаровательной девочки, такой благоразумной, так хорошо воспитанной (*фр.*).

[104] Пришпиленные четырьмя булавками (*фр.*).

[105] Бриген Эраст Дмитриевич (1794–1863) – генерал-лейтенант (1849), наказной атаман Астраханского казачьего войска (1838–1848).

обращалась мысленно к самой маленькой Соне и, как у живой, просила у нее прощения.

XXVII
На большой даче

Более всего мне памятна весна этого самого (1845) года тем, что я впервые каталась на пароходе, да я думаю, что не одной мне пришлось тогда впервые познакомиться с этой диковинкой. Я хоть видывала пароходы в Одессе, а много в Саратове было и старых людей, которые и понятия не имели о движении паром. Мне помнится, что до той поры, кроме лодок, да барок парусных, да барж, которые тянутся бечевой по берегам бурлаками, шагающими в лямке под свои грустные песни, никаких плавательных средств там не знали… По крайней мере, этот первый пароход произвел целый переполох в городе.

Богатый купец, его владелец, захотел отпраздновать на славу открытие первых рейсов от Саратова до Астрахани. Он пригласил гостей на целый день на пароход, на катание по Волге с музыкой и танцами на палубе.

Танцовали большие, разумеется, но и мне было очень весело. Пароход шел так быстро, красные колеса так красиво мелькали, вспенивая воду по обоим бокам его, а Волга в весеннем разливе была так хороша в цветущих берегах, где в рощах громко заливались птицы...

Между завтраком и обедом мы где-то приставали, гуляли по высоким берегам в лесу, нарвали целые снопы ландышей и незабудок. Другие уходили удить рыбу. Не думаю, чтоб ее много поймали любители уженья, хотя Леля, бывшая между ними, потом за обедом, когда подали огромную стерлядь, уверяла меня, что она сама ее вытащила на крючке. Она, разумеется, шутила; но теперь ей редко удавалось меня обмануть, чтоб посмеяться со старшими над моим легковерием.

Возвращались домой при луне, но мне совсем не хотелось спать. На палубе, увешанной цветными фонарями, играла музыка, и танцы продолжались до самого города.

В этой прогулке наша Елизавета Яковлевна всех насмешила. Живя весь век в городах, сначала в Астрахани, потом в Саратове, куда приехала зимою, она понятия не имела о деревне, о полях и жатве летом. Едва мы вышли на пароходе за город, замелькали вспаханные, готовые к посевам нивы. Увидала их наша наивная полуангличанка и заохала…

– Что такое? – спросили ее. – Что вас так удивляет?

– Да как же, господа! Еще бы не дивиться! Посмотрите, пожалуйста, туда, на эти взбудораженные поля... Кому была охота и время так *истоптать всю землю*?..

Все, большие и малые, так и закатились смехом над молодой нашей учительницей без всякой жалости к жестокому смущению, расцветившему ее щеки ярким румянцем.

Это предпоследнее наше лето в Саратове мы провели в первый и последний раз не на маленькой даче, а на той огромной, куда мы, бывало, в раннем детстве бегали в грунтовые сараи за фруктами и где в одной из зал было чудное эхо, а на потолке была нарисована красивая женщина, вся в цветах, которая, как я подозревала, сама откликалась на мой голос.

Это был действительно огромный дом, где, несмотря на вечную сутолоку гостей, все же много комнат, в особенности в верхнем этаже, оставались незанятыми. А уж об его подвальном этаже ходили целые легенды: о несчастных, которых *кто-то когда-то* будто бы морил голодом, мучил пытками в этих маленьких темных комнатах на сводах; о том, что и поныне слышны по ночам их плач и стоны и что многие видали там привидения и разные страхи[106]. Все это,

[106] «Дача, на которой мы жили в Саратове, была старым, громадным зданием с подземными галереями, давно покинутыми ходами, башнями и укромными уголками. Это был скорее полуразрушенный средневековый замок, чем дом постройки прошлого века. Нам было разрешено в сопровождении слуг обследовать эти старые “катакомбы”. Мы в них нашли больше битого бутылочного стекла, чем костей, и больше паучьих сетей, чем железных цепей, но в каждой тени, отраженной на стене, нашему воображению чудились какие-то духи.

Однако Елена не ограничилась одним-двумя посещениями, оказалось, что это страшное место она сделала своим убежищем, где укрывалась от учебных занятий. Много времени прошло, пока это убежище не было обнаружено. Каждый раз, когда Елена исчезала, на поиски ее посылали большую группу прислуги во главе с тем или иным “жандармом”, человеком, который не побоялся бы выловить ее силой. Из сломанных столов и стульев она соорудила в углу, под окном, закрытым решеткой, некое подобие башни. Там она долго пряталась, читая книгу с разными легендами, которая называлась “Мудрость Соломона”.

разумеется, были вздорные выдумки, о которых я узнала от своих отставных, но, тем не менее, все еще усердствовавших *«адъютантов»*.

Наша француженка, напротив, когда-то жившая здесь гувернанткой при дочерях одного из прежних губернаторов, рассказывала нам об этих комнатах самые хорошие воспоминания. Она водила нас туда и объясняла, что у Па[нчулидз]ева[107] здесь содержались на всем готовом целые семьи бедняков.

– Мы, бывало, приходили сюда каждую субботу avec les jeunes demoiselles[108] П[анчулидзе]в[ыми], с моими воспитанницами, чтобы узнавать у этих бедных людей, всем ли они довольны, все ли здоровы?.. Меньшая дочь его всегда раздавала всем угощения из корзинки, которую нес за ней лакей. И надо было видеть, как она была мила и как все ей радовались и ею восторгались.

– Ну, еще бы не радоваться, когда она им приносила угощение! – скептически возражала моя сестра, не упускавшая никогда случая подразнить m-me Pecquoeur.

Разумеется, и Надя ее поддерживала.

– А не находите ли вы, что здесь было довольно сыро и темно жить этим беднякам?

– Особенно, – подхватывала Леля, – если тут были старички и старушки, страдавшие ревматизмом и кашлем!

M-me Пекер только презрительно на них косилась и продолжала свои рассказы, обращаясь ко мне, не смущаясь.

Как все ее соотечественники, она не могла не увлекаться своими рассказами и хоть слегка не преувеличивать. Все мы знали, что П[анчулидзе]в был очень хороший, к тому же богатый человек, оставивший по себе добрую память; но она из него делала какого-то благодетельного героя.

Как-то раз она увлеклась до того, что стала утверждать, что как только П[анчулидзе]в выходил на улицы города, так его сейчас окружали толпы благодарных «indigents»[109], которые бросались перед ним на колени, ловили руки его и края одежд (les pans de ses habits) и со слезами их целовали.

– Vous trompez, madame, – вы ошибаетесь! – насмешливо прервала ее Елена. – Это все случалось с Гарун-аль-Рашидом[110] на улицах Багдада, в Малой Азии. А у нас этого не может быть: нельзя таким образом мешать прогуливаться губернатору, – этого полицейские не допустят.

– Уж разумеется, – вдруг вознегодовав, вставила и я свое слово. – Если б можно было на улицах падать на колени, так бабочке проходу бы не давали!.. Ей невозможно было бы выйти из дому. Кто может делать больше добра, чем она?

– Je ne dis pas[111]! – успокаивала нас гувернантка. – M-me votre grand-mère est bien charitable[112]; но у нее, к несчастию, нет таких больших средств...

И сконфуженная таким дружным отпором, гувернантка наша умолкала, насупливалась и начинала грызть ногти – признак величайшего раздражения.

XXVIII
Удовольствия и печали

Очень многолюдное, шумное и веселое было для нас это лето на «большой» даче. Словно сговорившись, съехались к нам со всех сторон гости. Кроме Брюггенов, о посещении которых я

Раза два ее лишь с большим трудом удалось найти где-то в сыром коридоре, так как, стараясь избежать погони, она зашла в лабиринт и там заблудилась. Но это ничуть не испугало ее, ибо она утверждала, что никогда не бывала там одна, а всегда в обществе своего “маленького горбуна” – ее товарища по играм» (*Нэф М.* Личные мемуары Е.П.Блаватской. М., 2009. С. 29–30). Слова В.П.Желиховской из книги А.П.Синнетта «Случаи из жизни мадам Блаватской, составленные из сообщений ее родственников и друзей» (Лондон, 1886).

[107] Панчулидзев Алексей Давидович (1758–1834) – саратовский губернатор (1808–1826).

[108] с молодыми барышнями (*фр.*).

[109] «бедняков» (*фр.*).

[110] Харун ар-Рашид (766(763) – 809) – арабский халиф, правитель Аббасидского халифата (786–809), известен по сказкам «Тысячи и одной ночи».

[111] А я и не говорю (*фр.*).

[112] Мадам ваша бабушка весьма щедра (*фр.*).

рассказывала выше, у нас постоянно гостили родные и знакомые. Приехал даже наш отец: будто предчувствуя, что скоро дети его уедут очень далеко, он захотел повидаться с нами и проститься[113].

Мы, три года не видав папу, едва его узнали, – я, по крайней мере. Он, бедный, сильно постарел и изменился... Помню, что мне было очень жаль его, что он живет так далеко, совсем один; но когда он спросил меня, не хочу ли я ехать с ним? – я испугалась... Как могла я уехать от всех родных, от своей дорогой бабочки, от тетей, Антонии, маленького Люси?!. Нет! Я не могла об этом подумать без содрогания и горько заплакала, не зная, что ему ответить.

Но папа сам меня успокоил, сказав, что он только пошутил, – что пока мы не вырастем или он не переменит службы, ему невозможно при вечно походной жизни взять нас к себе.

Большое удовольствие имела я в это веселое лето: приехал Закревский и устроил у нас домашний спектакль, сюрпризом для бабушки. Надо думать, что она нарочно притворялась, что не замечает никаких приготовлений к этому сюрпризу; но он удался отлично. На этот раз не только Надя, но и тетя Катя играла. Пьеса была презанимательная: *«Не любо – не слушай, а лгать не мешай»* князя Шаховского[114]. Эта старинная комедия, писанная стихами, очень живая и остроумная, так всем понравилась, что мы долго повторяли разные ее изречения, и все знали ее чуть не всю на память. Больше всех смешил публику и конечно всех лучше играл Андр[ей] Дмитр[иевич] Закревский и, представьте, в женской роли старой тетушки Хандриной. Толстый, в бабушкиной шелковой блузе, в чепце с пестрыми лентами, великолепно загримированный, так что его узнать было невозможно, он поднимал глаза к небу и сентиментально объявлял:

«Я родилась седьмого мая,
А майский камень – изумруд!»

Все приглашенные были в восторге от этого спектакля, а про мое ликование во все время приготовлений и игры нечего и говорить.

Кроме всех наших домашних удовольствий, мы, дети, в то лето были особенно развлекаемы всякими посторонними случайностями. В нашей роще, например, заезжая труппа вольтижеров-гимнастов несколько раз давала представления с бенгальскими огнями и фейерверками. Потом на поле у самой рощи калмыки расположились со своими кибитками. Они продавали кумыс, а потому окрестности с утра до вечера были переполнены гулявшими больными, приезжавшими из города, чтоб на месте пить кумыс. Разумеется, серьезно больных было мало – те лечились по домам, – а поездки в рощу, к калмыцким кибиткам, больше служили для саратовцев развлечением, а нам то и дело доставляли экстренных гостей и экстренные удовольствия.

К числу последних принадлежали уроки верховой езды, на которые и я себе выпросила разрешение. Тети наши ездили верхом отлично, и Леля иногда уж принимала участие в их кавалькадах; но я еще никогда не пробовала садиться на лошадь с той поры, как, бывало, папа меня брал к себе на седло и вез перед своей батареей, к великому скандалу нашей кривоглазой англичанки. Для моих самостоятельных верховых прогулок мне дали смирную белую тети Нади лошадку, и я раза два-три прогулялась на спине ее вдоль аллей нашей рощи, разумеется, крепко держась за луку дамского седла...

Тем не менее, я уже мечтала об амазонке, – еще бы! Ведь мне уж шел одиннадцатый год, я себя чувствовала взрослой барышней! Увы! На четвертой моей верховой прогулке я, должно быть, уж очень расхрабрилась, дернула поводья, прищелкнула языком; моя лошадка поднялась в галоп, мигом оставила позади себя сопутствовавших мне обыкновенно *пеших* проводников – казака и денщика дяди Рости и, повернув, без моего на то желания поскакала прямехонько к своей конюшне... Должно быть, она почуяла, что с таким седоком нечего время терять и церемониться и решила возвратиться к стойлу.

Если бы я не растерялась и не бросила поводьев, чтоб уцепиться за луку, она наверно становилась бы при малейшем движении уздечки; но я сама ее оставила на произвол, своими

[113] П.А.Ган вышел в отставку 8 февраля 1845 г.
[114] Шаховской Александр Александрович (1777–1846) – драматург и театральный деятель.

криками только еще более ее возбуждая бежать скорей. Бежавшие сзади люди тоже кричали, но догнать, понятно, не могли. К счастию, кто-то из кучеров, увидав, в чем дело, побежал наперерез и схватил мою лошадку под уздцы у самой конюшни. Я говорю *к счастью* потому, что не догадайся я или не успей пригнуться в ту минуту, как она вбежала бы в ворота, я могла бы сильно разбиться, слететь с седла, пожалуй, даже и убиться, если бы лбом ударилась о балку ворот!..

Этого не случилось; меня сняли с седла невредимой, хотя перепуганной и сильно сконфуженной; но, тем не менее, мои уроки верховой езды были отложены на неопределенное время, а мои мечты об амазонке рассеялись, исчезли в тумане дальнего будущего…

Это шумное лето, полное удовольствий и треволнений, закончилось грустно. Я была, во-первых, очень огорчена отъездом отца, пробывшего с нами всего один месяц, а потом разлукой с нашей милой Елизаветой Яковлевной Стюарт. Она возвращалась к родным, куда-то переселявшимся из Астрахани; за нею приехал брат ее, и нам приходилось навсегда с ней расставаться. Мы с Лелей очень плакали, прощаясь с ней, да и она сама, хоть и ехала к отцу и матери, была не менее нас огорчена. Мы обменялись с ней разными *сувенирами*; она написала мне в альбом стихи и приклеила незабудку, подписав под этим цветочком его английское название *«forget-me-not»*, то есть – *«не забывай меня»*. Эта незабудка и стихи и теперь целы в моем стареньком альбоме; я часто смотрю на них, вспоминая свое счастливое детство… Я бы советовала всем хранить свято такие воспоминания ранних дней жизни: они очень дороги бывают впоследствии и действуют успокоительно на душу в более суровые дни, когда пройдет молодость, унося радости жизни, а взамен их оставляя лишь память о прошлом и об отшедших друзьях.

В заключенье всех моих горестей я еще заболела. Несколько дней я чувствовала какую-то жгучую боль в глазах, но я думала, что это, верно, оттого, что я в последние дни много плакала... Оказалось, однако, не то. У меня появился сильный жар и краснота по всему телу... Меня поселили в одной из верхних дальних комнат, чтобы Леля и маленькие братья не заразились, потому что у меня оказалась корь.

Итак, последний месяц пребывания на «большой» даче для меня прошел печально, в сравнительном одиночестве и болезни. Разумеется, все взрослые меня навещали, Антония меня и вовсе не оставляла, со мною и спала; m-me Пекер, как только стало мне лучше, каждый день приходила со мной разговаривать, читать мне громко и петь своим дребезжавшим голосом романсы о рыцарях и их прекрасных дамах. Но все же мне было очень скучно, и я часто в глубине души восклицала со вздохом: «Вот если б бабочка была здесь, – мне бы, верно, было гораздо веселей!»

А дело в том, что бабушка с тетей Надей тогда уезжали лечиться куда-то – на соляные купания на Эльтонское озеро или на Сергиевские воды, – верно не вспомню.

Они вернулись только к сентябрю, и тогда мы все переехали в город, а дедушка скоро отправился по делам в Петербург[115].

XXIX
Тревожное время

У всех было тяжело на сердце в эту зиму, все были печальны в отсутствие дедушки, у которого тогда были тревоги и служебные неприятности. Моя «бабочка» милая смотрела озабоченной; она и тетя часто плакали, получая письма из Петербурга, боясь за здоровье дедушки. Кроме этих тревог, у нас вышло по пословице: «одна беда пришла – отворяй другой ворота». Дядя Юлий Федорович должен был часто уезжать верст за двести за Волгу, где находилась казенная образцовая ферма, которой он управлял. Раз его оттуда привезли совсем больного. Он по дороге вывернулся, сломал себе ключицу и так сильно ушиб ногу, что она у него потом несколько месяцев болела. Все перепугались, особенно бедная тетя Катя. Хорошо, что доктор наш жил рядом и был дома. Он осмотрел дядю и успокоил всех уверением, что раны совсем не опасные.

Уныло и медленно тянулись зимние месяцы. О прежних затеях наших, детских балах и

[115] А.М.Фадеев и П.А.Ган прибыли в Петербург 17 сентября 1845 г. (Прибавление к Санкт-Петербургским ведомостям, 1845, №211, 19 сентября).

спектаклях не было и речи, да и взрослые гости реже посещали родных.

До них ли было всем, когда бабушка частенько выходила с заплаканными глазами, боясь за будущее, предвидя возможную разлуку с тетей и семьей ее?.. Хотя взрослые по возможности скрывали от нас свои горести, но мы скоро проведали, в чем дело: дедушка получал новое назначение и должен был оставить Саратов.

Когда об этом узнали в городе, на несколько недель не стало бабушке покоя от визитов. Дом снова оживился, но оживился грустно: все горевали о предстоявшей разлуке с нею и с дедушкой, которого вся губерния любила и уважала глубоко.

Ждали мы своего «папу большого», ждали все с нетерпением; думали дождаться хоть к праздникам, к новому году, но не дождались. Возвратился он усталый, измученный и тревогами, и утомительной дорогой по последнему снегу в начале февраля, хотя сравнительно приехал скоро: *всего* [в] десять дней[116]... В те времена грунтовых дорог, покрытых невылазными снегами или грязью, это считалось очень скорым переездом. Теперь в десять дней можно проехать с одного полюса на противоположный; но тогда и до Саратова из Петербурга люди езжали по месяцу.

И так все было теперь окончательно решено. Князь М.С.Воронцов[117], бывший тогда наместником на Кавказе, предлагал дедушке место управляющего государственными имуществами в Закавказском крае. Они знали друг друга давно, дедушка служил под его начальством и прежде и очень рад был вновь перейти к нему на службу. Вся беда была только в том, что нам приходилось разлучаться, быть может, на долгое время. Дедушка надеялся, что со временем и дяде Юлию Федоровичу можно будет тоже перейти в Тифлис на службу. Дядя Ростислав уже побывал там и хотел непременно перевестись на Кавказ. Ему это было легче – он был военный, а ведь война с кавказскими горцами тогда была в полном разгаре, и все военные люди туда стремились.

Но «Улита идет, когда-то будет?» – гласит пословица: покамест все-таки приходилось готовиться к разлуке; а тете, никогда надолго не разлучавшейся с родными, куда как это было тяжело.

Ожидание скорой разлуки отравляло последние месяцы общей жизни в Саратове всем взрослым членам нашей семьи; но я не могла, понятно, тогда горевать, не развлекаясь. Для меня, как отчасти и для Лели и, разумеется, для Леонида, еще были очень веселые дни, в особенности, когда мы с наступлением весны опять, в последний раз уже, переехали на дачу, на нашу старую, «маленькую» дачу, милую нам по воспоминаниям самого раннего детства. Мы, дети, забывали, что проводим на ней *последнее* лето... Даже мне, большой девочке, как-то не верилось, чтоб она, эта *наша* родная дача, с ее тенистыми липовыми аллеями и цветущим оврагом в роще, могла когда-нибудь нам сделаться чужой!.. Лида ни за что не хотел верить, чтоб это могло быть. Он тогда был уже большой семилетний мальчик, умел читать по-русски, по-немецки болтал свободно со своей нянькой Луизой и, благодаря Антонии, да отчасти вновь приставленному к нему дядьке-швейцарцу m-r Turando, начинал говорить по-французски.

Не стану рассказывать о бесконечных проводах, об обедах и вечерах, которыми весь город чествовал на прощание моих родных; эти чествования страшно утомляли их, хотя вместе и радовали, доказывая общую к ним любовь. Мы, дети, большей части этих празднеств и не видали; но я должна остановиться на прощании приютских девочек с моей дорогой «бабочкой», которому сама была свидетельницей. Такого плача и рыданий, таких напутствий и детских благословений я в жизнь свою больше не видывала.

Детские слезы не могут быть неискренни, особенно при расставании с особами, с которыми покончены все официальные расчеты. Они доказывали мне, что маленькая девочка Груня Зайцева, сказавшая мне когда-то памятные слова: *«Ваша бабушка такая добрая, Верочка, что другой*

---

[116] А.М.Фадеев выехал из Петербурга в Саратов 22 января 1846 г. (Прибавление к Санкт-Петербургским ведомостям, 1846, №20, 24 января); П.А.Ган выехал из Петербурга в Каменец-Подольский 2 января 1846 г. (Прибавление к Санкт-Петербургским ведомостям, 1846, №3, 4 января).

[117] Воронцов Михаил Семенович (1782–1856) – государственный и военный деятель, новороссийский и бессарабский генерал-губернатор (1823–1854), главнокомандующий войсками на Кавказе и наместник кавказский (1844–1856).

такой, можешь быть, и на свете нет!»[118], говорила от сердца истинную правду.

XXX
Проводы

В половине августа, именно в Успениев день, поднялись мы всем домом в дорогу. Дедушка, бабушка и Надя уезжали совсем, с ними секретарь дедушки и, разумеется, несколько человек прислуги, а мы все только верст за пятьдесят их провожали.

Весь Саратов провожал родных моих за город. Отсутствовали только те из близких знакомых, которые выехали ранее, чтоб встретить нас в двадцати верстах в имении одного помещика, где был приготовлен обед в саду с музыкой и всякими великолепиями; но теперь, когда дело дошло до действительной разлуки, меня уж ничто не могло утешить, ни даже рассеять в моей горькой печали.

Никогда, во всю жизнь, не изгладилось во мне впечатление последнего утра, когда мы окончательно простились. Ведь никто из нас тогда не знал, когда и скоро ли мы свидимся; все мы, провожая родных в далекий опасный край, где была вечная война, вечные грабежи, разбои и всяческие опасности, всего боялись за них... Наслушавшись разных рассказов о том, как черкесы убивали путешественников, забирали в плен женщин и детей, мучили голодом пленников, сажая их в ямы и заковывая в цепи, я не хотела верить успокоительным уверениям родных, что все эти россказни страшно преувеличены, и ужасно за них боялась!

Я даже долго не могла заснуть в ту ночь, а утром ранехонько проснулась! Свет еще чуть брезжил… Я всех оглядела: все еще спят, – видно, рано! Прилегла я и стала задумывать: что ж это будет теперь?

Вот проводим мы бабочку, папу большого и Надю в дальний путь, за синие моря, за высокие горы, за темные леса, в далекую, неведомую, страшную сторону нехристей-басурманов! Расстанемся с ними, сами вернемся... Да куда?.. Не домой: куда-то в степь. На какую-то ферму... Тоже, может, дикое, пустынное место, где будет всем нам ужасно скучно!.. И как же это буду я жить без своей «бабочки»?! Как век мы будем жить в разлуке с ними, в такой дали, что письма оттуда даже по месяцам идут?..

Я так ужаснулась, вспомнив, что мне это Надя накануне сказала, что сразу привстала и села на постели, обхватив руками колени. А постель мне была постлана рядом с сестрой на сене, насыпанном на пол, возле самой двери в комнату, где дедушка почивал. Вдруг слышу я за дверями шорох...

«Неужели, думаю, он уж проснулся и встает? Быть не может, – верно, мне показалось? Ведь еще почти темно!»

Но нет, вот опять движение и даже будто шепот… Заинтересованная, я тихонько поднялась на колени и припала лицом к щелке в дверях в смутном опасении, уж не болен ли он?.. Нет, он не был болен, но, как видно, встал уже давно. Он был умыт, причесан; на нем был его обычный утренний зеленый шелковый халат и, как видно было, он только что, по ежедневному обычаю, прочел Евангелие. Я видела, как он закрыл его, потушил свечу и опустился на колени пред иконой-складнем, стоявшей на столике...

«Зачем я смотрю? Зачем подглядываю?.. Ведь это нехорошо!..» – думалось мне; но я не могла оторваться от щели.

Я смотрела, как дед мой усердно молился в предутреннем сумраке; как низко склонялась к полу седая его голова; как подымалась худенькая рука его ко лбу, творя крест; как он другою рукою смахивал порой слезы, катившиеся по впалым щекам, и тихо шептал молитву.

Странное ощущение, похожее на чувство страха, холодными мурашками бегало у меня по спине при мысли, что вот он тут, в одном шагу от меня, плачет и молится за нас же! За нас, которых вот сейчас, скоро, должен покинуть, не зная, свидится ли когда-нибудь, не зная, что нас всех ожидает?.. Как же быть? Чем помочь?.. Где искать успокоения, утешения?.. И по моему лицу слезы катились градом.

[118] *«Как я была маленькой».* Гл. V, стр. 34. – *Примечание В.П.Желиховской.*

Невольным движением и мои руки сложились на молитву, и глаза сами собой невольно поднялись на образ, и горячо, из глубины души, излилась моя детская, неразумная молитва заодно с сознательной, христианской молитвой деда.

Он никогда не узнал, что я видела его в это памятное мне утро и плакала и молилась вместе с ним; но его образ, такой, каким я его увидала, навсегда глубоко запечатлелся в моем сердце, и даже теперь, когда он давно умер, а я состарилась, часто отрадно мне вспоминается.

Помнится мне, что именно с этого времени наступили более разумные годы моего отрочества. Печаль ли разлуки так на меня повлияла, или сказался наступивший двенадцатый мой год, но я в эти последние месяцы, проведенные нами в Саратове, очень сильно переменилась, – я это вижу по тону дневников своих, которые вела аккуратно.

Часть вторая

I
Ферма

Переселение наше за Волгу было очень многолюдно. Дядя Юлий Федорович Витте с тетей Катей и их двумя детьми, Люсей[119], которому уже было около двух лет, и двухмесячным Сашей[120]; я и Леля с m-me Pecquoeur; брат Леонид с дядькой-швейцарцем, m-r Turando; мамка, няньки и большая часть огромной дворни, так как с бабушкой и дедом поехало всего трое или четверо людей. Дядя Ростислав, живший последнее время с нами в Саратове в ожидании перевода на Кавказ, остался в городе; осталась там временно и Антония, не помню почему (кажется, потому что лечилась). Она поселилась у Гречинских с тем, чтобы позже, осенью, тоже приехать к нам.

Что за зеленое, широкое раздолье, что за тишь да гладь да Божья благодать представилась нам детям, непривычным к настоящей деревне, в этом степном заволжском просторе! Небольшой деревянный дом под серой тростниковой крышей; заросший травою поместительный двор, окруженный солидными хозяйственными постройками. За ним еще больший скотный двор, загоны для овец, амбары, сараи, конюшни, птичники, огороды и, наконец, бесконечное, гладко убитое гумно с бесчисленными снопами и скирдами. И все это, окруженное цветущими лугами и только что сжатыми нивами, перерезанными светлой мелководной речкой *Ерусланом*, сразу возбудило в нас так много новых разнообразных впечатлений и интересов, что мы скоро утешились в разлуке с родными.

Конечно, мы их не забывали ни на минуту; но все же нам весело зажилось и здесь, тем более что письма приходили частые, интересные, возвещавшие нам, что дедушка доволен переменой службы и, вообще, переселением в Грузию и что он питает надежду на скорый перевод туда и дяди Витте, а следовательно и на то, что все мы скоро заживем по-прежнему, вместе и неразлучно.

В предвкушении этого счастья – скорого свидания с моей дорогой «бабочкой» – мне ничто не мешало пользоваться удовольствиями настоящей минуты. А я везде их находила! Леля, увлекаясь своими фантазиями, внушила мне мысль, что мы теперь обратились в «совсем простых девочек», в племянниц «сельского фермера»; а дядя наш такой же «простой фермер», как «farmer Gray» в английской повести этого имени, или как те французские фермеры-поселяне, о которых мы читали в рассказах «Berquin»[121] или «M-me de Genlis»[122].

Эта метаморфоза не только меня не смущала, а напротив, мне очень понравилась, и я с большим удовольствием, тотчас войдя в новую роль, стала фантазировать на эту тему, – воображая себя *деятельной поселянкой*. Тихая жизнь наша и относительная свобода много способствовали развитию этой фантазии. Здесь не было ни гостей, ни шумного съезда наших подруг; ни фейерверков, ни акробатов, ни музыки, которыми нас баловали в последние годы пребываний наших на даче; не было ни городских условий жизни, ни такого дома с большими, высокими комнатами, к каким мы привыкли в Саратове, – ничего прежнего! К нам близко подступила простая сельская жизнь с ее работами, с широкими интересами полевого и домашнего хозяйства в таких размерах и с таких сторон, о которых мы и понятия иметь не могли; и эта новая жизнь и новая обстановка всю меня охватили своей простой и здоровою силой.

У меня, к тому же, здесь оказалось гораздо более свободного времени. Хотя уроки со старой няней француженкой шли очень аккуратно, гораздо лучше, чем в городе или на даче, где им то и дело мешали непредвиденные случайности, но здесь не было ни бабушки, ни Антонии, с которыми я занималась гораздо больше, чем с m-me Пекер. С ними я редко могла оставаться в одиночестве, а теперь же, вне уроков с гувернанткой, пользовалась совершенной свободой и могла

---

[119] Андрюшей. – *Примечание В.П.Желиховской.*

[120] Витте Александр Юльевич (1846–1884) – полковник, двоюродный брат Е.П.Блаватской и В.П.Желиховской.

[121] Беркень Арно (1749–1791) – французский писатель, как автор книг для детей и подростков в своих произведениях, помимо моральных наставлений, преследовал цель развития интеллекта своих читателей, сообщая сведения об окружающем их мире в легкой беллетристической форме.

[122] Дюкре де Сент-Обен Стефани-Фелисите, мадам де Жанлис (1746–1830) – французская писательница, автор сентиментальных романов, которые называли «катехизисом молодой девушки».

по целым часам пропадать на гумне и в полях.

Обыкновенно я вставала очень рано, но вместо того, чтоб бежать пить кофе с «папой большим и бабочкой», а потом садиться за ранние уроки со своей Антоничкой, я уходила на гумно, в молочную, на скотный или птичий двор; смотрела, как складывают хлеб или сено, как бабы управляются с молочными скопами; играла с маленькими барашками, любовалась, как кормят птицу, малюсеньких цыплят и утенков.

Оттуда я иногда, до чая, успевала пробраться в поля, где набирала целые снопы цветов, не выкошенных по межам. В первые дни нашего приезда хлеба еще не все были сжаты. Я очень любила сидеть на зеленой меже, вся закрытая высокой рожью, или же издали засматриваться на тяжелые волны густых побуревших колосьев, в которых кое-где пестрели цветы, красиво покачивались белые звезды крупной ромашки, розовые и малиновые гвоздики или гроздья лиловых колокольчиков, а то синел еще и запоздалый василек. Впрочем, в мои полевые букеты часто попадала и контрабанда в виде бело-розовых кисточек гречихи или пестрых завитков гороха... Но больше всего я любила убегать на берега речки. Извилистый, спокойный, светлый Еруслан мне нравился бесконечно!.. Он был такой красавец, пробегая в цветущих берегах, заросших кустарником и тростником, из которого то и дело грузно подымались утки и всякая неуклюжая, длинноногая, длинноносая водяная птица. В тихих заводях его колыхались белые и желтые водяные лилии, попросту кувшинки, напоминавшие желтые репки, поданные на зеленых тарелочках, так они плотно ютились на своих круглых листьях. Их много росло по обеим сторонам нашей купальни, и я часто любовалась ими, наблюдая, как у самого берега быстро скользят между ними длинноногие круглые пауки.

Нагулявшись часов с шести утра, разжарившись, садилась я на верхнюю ступеньку крылечка; смотрела, бывало, смотрела на тихое течение, на перебегавшие, вечно догонявшие одна другую струйки и часто не выдерживала характера: забывала обещание, данное тете Кате, – одной никогда не купаться. Я вмиг раздевалась и, вся дрожа от удовольствия, больше, чем от холода, быстро погружалась в воду, стараясь только не замочить кос, чтоб они не выдали моего непослушания. Это было нетрудно, потому что плавать я тогда не умела, сама трусила утонуть и только, крепко ухватившись за столбы крылечка, окуналась по шею, даже не сходя со ступенек…

Сколько тут было и удовольствия и страха!

Запоет ли ветер в камышах, крякнет ли коростель, раздастся ли вдали песня, или просто заскрипят ржавые петли на дверях купальни, – так вся и вздрогнешь и насторожишься!.. А сердчишко-то, ух, как колотится! Словно испуганная птица из клетки на волю вырваться хочет. Особливо, как еще придет на мысль: «А вдруг *кто-нибудь* меня за ногу схватит?!»

Так и подпрыгнешь на верхнюю ступеньку и, спеша одеваться, искоса смотришь на воду, словно ожидая, что вот-вот над блестящей ее гладью взмахнет дедушка-водяной зеленой своей лапой... Потом как побегу домой, самой смешно свой глупый страх вспоминать, и только думается, как бы не проболтаться, чтоб «большие», особенно сестра Леля, – на смех бы не подняли!

Ах, как весело бежалось под ярким солнышком к чаю домой после такой прогулки да купанья! Какая здоровая дрожь пробегала по всему телу и как славно елось за завтраком! Куски ситника со свежим маслом, и сдобные булочки, и чай, и молоко – все быстро исчезало и все казалось необыкновенно вкусным.

После чая, часов в десять, наступали занятия с m-me Pecquoeur; потом, перед обедом, с дядей Юлием Федоровичем, который, за отсутствием Антонии, со мною немножко всем занимался и никогда моими уроками не бывал недоволен, пока дело не доходило до моей bête noire[123] – арифметики!.. Ну, тут он, бедный, хотя по доброте сердечной и великому своему терпению и старался сдерживать горькое отчаяние, но не всегда справлялся с унынием и часто кончал тем, что отпускал меня раньше времени, кротко напутствуя надеждой:

– Ну, Бог с вами, Верочка! Уж идите себе сегодня. Может, завтра дело лучше пойдет.

Затем оставалось, – что же?.. Час игры на фортепиано, до или после обеда, с тетей Катей, заменившей мою всегдашнюю учительницу-бабушку, да иногда чтение вместе с сестрой по-

[123] любимой мозоли (*фр.*).

английски, опять-таки лишь для того, чтоб не забыть этого языка совершенно.

После обеда иногда мы ходили гулять в поля все вместе, купались, пока было жарко, а иногда ездили на далекие прогулки в линейке. В хорошие лунные вечера часто заигрывались мы на гумне, прячась в стогах или бегая в горелки по двору до позднего времени. Но зато, едва коснется голова подушки, здоровый, крепкий сон слетает в тот же миг и до утра переносит в волшебное царство пестрых сновидений.

И мастерица же я была видеть сны! Никто не мог похвастаться таким разнообразием и занимательностью снов и таким умением их рассказывать, как я. Я даже записывала их часто в свои дневники, которые к этой поре вела очень аккуратно.

II
Осень

Наступал октябрь, а с ним и осень входила в права свои. В полях уж не оказывалось для меня обильных сборов. Не только цветы, но отошла и поздняя ягода, ежевика, в изобилии росшая возле нашего дома во рву и по берегам Еруслана. Вообще густые заросли по реке редели; сквозь них уж поблескивали издали невидные прежде воды его, такие светлые, голубые летом, а теперь все чаще принимавшие серые оттенки хмурившегося неба. С деревьев облетали листья, а в вышине поднебесья днем и ночью раздавались писк, клекот и протяжные крики ласточек, журавлей и всякой перелетной птицы, отлетавшей на юг. Иногда в ясные вечера их вереницы отчетливо вырезались на небе яркими или черными точками. В опустелые поля, почти сплошь покрытые щетиной бурой соломы, скучно стало ходить; зато на гумне кипела веселая работа: люди, как муравьи, копошились между скирдами, и целыми днями слышны были удары цепов рабочих, молотивших в овинах. Суета на гумне помешала моим одиноким занятиям...

Это было несколько странно, но дело в том, что в течение всего ясного, теплого сентября я забиралась на гумно с книгой, устраивалась там уютно на мягкой соломе в одном из *коридоров*, образованных рядами высоких, как дома, правильно сложенных скирд и, уверенная, что здесь никто меня не найдет и не потревожит, принималась за интересную книгу. Этот оригинальный «кабинет для чтения» был избран не мною: его нашла и полюбила Елена Петровна, моя пятнадцатилетняя фантазерка-сестрица, уже зачитывавшаяся романами, дозволенными и недозволенными, которые она тайно похищала у тети Кати... Ей, понятно, сподручны были уединенные, потайные уголки для секретных чтений, где всегда можно было успеть спрятать книгу в карман, под верхнее платье, а не то, так и зарыть на время в солому; но мне нужна была не тайна собственно, а свобода, уверенность, что никто меня не увидит и *не услышит*. Я очень любила сама себе читать громко и, увлекаясь, воображая себя саму на месте героинь повестей или романов для юношества, декламировала с большим одушевлением те речи их, которые мне нравились. Русских детских романов тогда еще не было, но французские и английские были прелестные.

Благодаря повестям мисс Эджеворт[124] и ее последовательниц, я с одиннадцати лет перестала учиться английскому языку, а с тринадцати, с разлуки с сестрой, по выходе ее замуж, даже лишенная совсем практики, – все же не забыла его.

На гумне я прочла прелестный роман «Les petits émigrés»[125], вызвавший много моих восторгов и слез; прочла также и свой первый русский роман – *«Юрий Милославский»*[126], доводивший меня до такого самозабвения, что я раз прозевала за ним обед и перетревожила весь дом своим исчезновением, а потом – своими заплаканными глазами. Тетя очень испугалась, но Леля ее успокоила: разыскала меня и привела с триумфом из-за хлебных скирд... Ну и досталось же мне! Не столько от тети, как от Лели, поднявшей меня по своему обыкновенью на смех, представляя, как я прощалась с Юрием Милославским, воображая себя его невестой.

---

[124] Эджворт Мария (мисс Эджеворт, Edgeworth, 1767–1849) – английская (ирландская) писательница, эссеист, публицист.

[125] «Маленькие эмигранты, или переписка нескольких детей» (1798) – роман мадам де Жанлис.

[126] «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» – первый в России исторический роман писателя и драматурга Михаила Николаевича Загоскина (1789–1852).

Леля теперь уж считала себя совсем взрослой барышней. Хотя она занималась с m-me Пекер и очень много музыкой, однако, авторитета гувернантки совсем признавать не хотела, особенно вне уроков. Француженка же, напротив, требовала повиновения, признавая себя не учительницей только, а воспитательницей нашей. Я с ней ладила, но сестра по-прежнему воевала, то и дело изобретая разные способы досаждать ей, как она говорила, «от скуки»... Лишенная сообщества тети Нади и саратовских подруг своих, Леля стала еще изобретательнее на враждебные выдумки. Ее забавлял гнев старухи и ее сердитые предсказания... Она заливалась смехом, когда выведенная из себя гувернантка начинала кусать себе ногти и бормотала себе под нос, по-прежнему почти всегда украшенный *капелькой*:

– An! Bon!.. Elle aura de la chance si elle ne se fait pas pendre, cette petite malheureuse-là!.. Oh! la nigaude! La petite monstre!.. (О, она далеко уйдет, если не свихнет себе шеи, эта несчастная! У, негодная!.. Чудовище!..).

– О, если б не мое обещание вашей почтенной бабушке и доброй m-lle Antonie[127] не покидать вас до ее возвращения, – жаловалась она мне часто, – я ни одного дня не оставалась бы в доме.

Я очень важничала доверием m-me Pecquoeur ко мне и ее уверениями, будто во мне, несмотря на то, что я на четыре года моложе сестры, несравненно более благоразумия и добропорядочности. Я помню, что очень слабо отнекивалась от ее похвал и даже с гордостью передавала мнения ее Леле, чем вызывала в ней не досаду и не раскаяние, а самые искренние взрывы смеха. Она совсем не обижалась оскорбительными отзывами о ней бедной старухи.

– О! Elle n'a pas plus de couer qu'un sabot[128]! Бесчувственный чурбан!.. – восклицала наша Генриет[т]а-Каролина, когда, после ее сердитых выговоров, Елена в другой комнате заливалась смехом.

Это было неправда, потому что сестра, в сущности, была предобрая, а только своевольна и насмешлива до крайности.

Наступили заморозки. Иней серебрил по утрам землю, крыши, верхушки скирд и стогов сена; но дни еще выпадали прекрасные и к полудню все оттаивало. Наши общие прогулки теперь перенеслись на время между завтраком и обедом, а утренние мои одинокие бегания совсем прекратились. Я упросила m-me Пекер со мною заниматься раньше, чтоб не терять светлого времени в четырех стенах. Когда мы не ехали или не шли на дальние прогулки все вместе, то мы с нею вдвоем уходили в поле, на Еруслан. Она была такая искусница составлять букеты, что делала их из ничего! Мохнатая верхушка тростника, красные шишки шиповника, блиставшие как кораллы, несколько лиловеньких и желтых сухоцветов-иммортелей, да всякая жимолость, ветка ежевичника с пестрой, морозом прохваченной листвой – и готов красивый, оригинальный букет.

Но вот наступило такое время, что самое полуденное солнце уж не могло более справляться с проделками деда-мороза: все затвердело, заиндевело и заискрилось. Крепко укатанные дороги возле фермы блестели, как серебряные ленты. Молодые деревца в нашем садике, кустарник по оврагу, каждая уцелевшая от косы и серпа былинка в полях – все забелело и красовалось, разубранное в алмазы, посыпанное брильянтовой пудрой.

Все в природе притихло, приумолкло; каждый звук разносился гулко и звонко… Земля словно застыла в ожидании снега, и люди угомонились до новой, зимней деятельности.

Стоял студеный, ясный вечер. Солнце скрывалось в багряном блеске, разукрасив небо и землю славой своих цветистых лучей.

Я подошла к окну, любуясь этим минутным великолепием и думая печальную думу... Брат Лида только что простудился, крепко кашлял, и по этому случаю тетя и мне велела не выходить из дому без особого разрешения. Да!.. Конец вольным прогулкам. Зима приближалась большими шагами, несла замки на все выходы и двери, вела за собой свою верную стражу – снежные валы и окопы...

Зима приближалась, – но ведь пока ее еще нет! Так неужели же заранее пугаться ее холодов да простуды и не пользоваться такими румяными вечерами?.. Обидно!

Вдруг под окном прошел кто-то сгорбленный, в серой теплой кацавейке, в стеганой ватной

[127] мисс Антонии (*фр.*).

[128] О! У нее не больше сердца, чем у деревянного башмака (*фр.*)

косыночке на голове...

– Ах! M-me Пекер! Chère m-me Pecquoeur[129]! – засуетилась я, барабаня в стекло. – Подождите меня, ради Бога! Подождите, я сейчас попрошу тетю отпустить меня с вами!

Старуха остановилась, закивала мне одобрительно головой.

Я бросилась в детскую, зная, что там найду тетю Катю по звонкому смеху и болтовне Люси, доносившимся оттуда, и мигом выпросила позволение, с условием одеться потеплее. Через минуту я уже шла в бурнусе и платочке на голове рядом с гувернанткой.

III
Мы расстаемся с m-me Пекер

– Où irous-nous?.. Куда мы пойдем? – было моим первым вопросом.

– Mais il me parait, que nous n'avons quèro l'embarras du choix! – засмеялась старуха. – Выбирать кажется не из чего: со всех сторон открытая степь… Пойдем, куда хотите, лишь бы мне сделать мой послеобеденный моцион.

– Ну, так знаете, пойдемте к речке! Я так давно там не была.

– Хотите взять ванну?.. С удовольствием! – пошутила гувернантка.

– Вы каждый день моетесь ледяной водой, а зимою даже снегом. Чего же вам бояться холодного купанья? – возразила я.

– О, да! – согласилась она. – Я с нетерпением жду первого снега. Так приятно им мыться!.. Я нежиться терпеть не могу и люблю холод более тепла, хотя и родилась в южной Франции.

И она пустилась в бесконечные воспоминания о своей молодости, вызванные моим невольным восклицанием:

– Какой чудесный вечер!.. Какое красивое небо!.. Посмотрите: с которой стороны лучше – на востоке или западе?

И я восторженно показывала на багровые и позолоченные облака, в которых только что зашло солнце, и на желтый диск луны, медленно всплывавший по другой стороне неба.

– Да, это великолепный горизонт, – согласилась m-me Пекер, – но если б вы видали небо моего отечества, на юге Франции, les horizons du midi de la France, – вы не захотели бы и смотреть на это холодное, северное небо.

Попав раз на эту тему, старушка уже долго не могла остановиться, а я лучшего и не желала, – я по-прежнему любила слушать ее рассказы! Так мы незаметно дошли до Еруслана и присели отдохнуть в нашей купальне – я на скамеечке, а она на верхней ступеньке лестницы. На одну ступеньку ниже уже стоял лед – до нее уж доходила река, по которой плыли тонкие льдины, называемые в народе *салом*.

– Не замочите ног! – предостерегла я старушку.

– Ничего, не бойтесь за меня! – отвечала она. – Минутку посидим – и домой!

Но она, по обыкновению, заговорилась, вернувшись к своей излюбленной теме...

По мере того как в моем воображении расстилались безбрежные голубые волны Средиземного моря, виноградники, померанцевые и оливковые рощи, *настоящий* горизонт наш все темнел и суживался. Холодный туман подымался с реки и с полей и словно дымчатым прозрачным покровом заволакивал луну.

Пора было возвращаться, а мы все сидели в остове купальни, с которой сняли полотняную крышу, и воображали, что над нами расстилаются небеса южной Франции.

– Вы счастливы m-lle Véra[130], – говорила мне старая гувернантка, – перед вами вся жизнь. Вы все еще увидите, всем этим будете любоваться, тогда как мне осталось только вспоминать красу моей далекой родины!.. Если и будет мне позволено увидеть еще когда-нибудь мое дорогое отечество, то это будет уж *не здесь*!.. Не земным зрением я его увижу, а *оттуда*! Свыше, – de là-haut!..

Она подняла голову и глаза к небу, устремив печальный взгляд в пространство…

[129] Милая мадам Пекер (*фр.*).
[130] мисс Вера (*фр.*).

Я только было собралась сказать: «А не пора ли домой?», как вдруг к нам влетело что-то большое, черное и какой-то «ужасный», как показалось мне, голос завыл: «А-у…»

Мы обе пронзительно вскрикнули. Я вскочила и едва удержалась за перила, а бедная m-me Пекер с маху спустила ноги на нижнюю обледенелую ступеньку, чтобы скорей подняться…

В эту минуту раздался хохот, и Леля распахнула большой черный платок и выпрямилась перед нами, крича:

– Ага! Испугались?.. Думали, волк?.. Я нарочно подкралась… Уж я давно слушаю тут ваши рассказы chère m-me Pecquoeur?.. En bien quoi[131]?... Чего вы так смотрите?.. Неужели я так ужасно вас перепугала?

Бедная старуха, промочив ноги, еще вся дрожа от испуга, еле вскарабкалась, отряхая подмоченные юбки, едва не свалившись сама в воду.

– Ты с ума сошла! – в негодовании кричала я.

– Что?!. Да неужели вы так испугались?.. Ah, pardon! De grâce[132]!.. Я, право, не думала… Я пошутила!

– Прелестная шутка! – вся трясясь от гнева, вскричала гувернантка. – Совершенно в вашем духе! Шутка, которая могла стоить мне и сестре вашей жизни!

– Жизни?!. Ah, bah[133]!.. Est-ce-que vous mourriez pour si peu chose?.. Кто ж умирает от такого вздора? – наивно изумлялась сестра, продолжая смеяться.

– Это по вашему вздор? Вздор – ледяная ванна в ноябре месяце?

– В конце октября! – хладнокровно поправила Елена. – И, наконец, вы ее не приняли, ледяной ванны. Зачем преувеличивать?

– Преувеличивать?! В октябре? В ноябре, говорю я вам!.. Теперь ноябрь для всей Европы. Но, разумеется, ее здесь не знают – цивилизованную Европу!.. Без сомнения. Что же может быть общего между Европой и варварскими странами, которые могут порождать *таких* девиц? Des exemplaires de jeunes filles, comme vous!

– Des jeunes filles aussi exemplaires que moi, voulez-vous dire, madame? – невозмутимо возразила сестра! – Да, конечно! Я вам очень благодарна, что вы сознаете, что таких примерных девиц, как я, – мало!

– Молчите, злой чертенок!

– Ах! Какие выражения для особы, принадлежащей к цивилизованной Европе! – с ужасом заметила Елена и со смехом выбежала из купальни, на бегу продолжая хохотать.

– Нет! Это невозможно!.. Я не могу более терпеть этого: я завтра же заявлю вашей тетушке, что m-lle Hélène[134] лишает меня возможности сдержать обещание, – дождаться возвращения m-lle Antonie. Нет, я попрошу у вашего дядюшки лошадей и уеду отсюда.

И как я ни старалась успокоить ее, уговорить, m-me Пекер твердо стала на своем намерении и даже не хотела дождаться, пока станет Волга.

Она в тот же вечер попросила ее отпустить в Саратов. Кстати, тетя хотела послать за доктором, потому что Леонид заболел серьезно. В этой же самой кибитке отправилась на другой день и наша француженка.

Тетя Катя очень смутилась и огорчилась этим происшествием и горячо корила ветреную Лелю.

– Другие в твои годы сами помогают родным в воспитании младших детей, – говорила она. – А ты только усложняешь и отравляешь мне жизнь своим безрассудством. Ну, что я буду делать теперь одна со всеми вами?.. С кем вы будете учиться?.. И за что из-за тебя бедная Вера должна оставаться без уроков?.. Хорошо, если Антония скоро может приехать, а не то я просто с ума сойду со всеми вами!

И в самом деле, бедной тете, привыкшей всегда жить из-за матери да с помощью Антонии и множества гувернанток и учителей, страшно трудно было теперь управляться одной с такой ватагой детей и подростков. А тут еще болезнь Леонида!.. Она просто теряла голову.

---

[131] дорогая мадам Пекер?.. В чем дело (*фр.*).

[132] Ах, извините! Ради Бога (*фр.*).

[133] Да что уж там (*фр.*).

[134] мисс Елена (*фр.*).

Сестра и сама была очень смущена результатом своей необдуманной шалости; разумеется, она этого не ожидала. Она старалась всячески оправдаться и успокоить тетю уверениями, что она будет каждый день сама аккуратно заниматься, и за моими уроками предлагала наблюдать; но это я поспешила с негодованием отвергнуть, мало доверяя ее педагогическим способностям. Кроме того, я действительно на нее сердилась за m-me Пекер и находила, что она очень дурно с ней поступила, чтò ей и высказала без церемоний.

Разумеется, Леля в долгу не осталась.

– Пожалуйста, без нравоучений, «назидательная азбука»! – оборвала она меня. – И без твоих наставлений обойдусь... Сама, небось, рада от старой карги освободиться, а только бы прикинуться добродетельной недотрогой. Девицу Добромыслову[135] разыгрывать... Лицемерка!

Положим, я не лицемерила, я действительно сожалела об отъезде гувернантки; но вообще не могу утаить греха, что я любила в те годы порисоваться благоразумием, а потому мне случалось порой душой кривить, тогда как сестру можно было упрекнуть в легкомыслии, в безумных шалостях, в дерзости, в лени, – в чем угодно, только не в притворстве, не в скрытности, не в лицемерии и никак не в злости. M-me Пекер ее часто в ней упрекала, и вообще, будучи постоянно возбуждена против нее, не была к ней справедлива, что еще хуже портило их отношения. Разумеется, Леля ее не любила и, в сущности, рада была ее отъезду, а меня имела полное право подозревать в неискренности вообще.

Я, например, в душе часто не соглашалась с нашей старой француженкой, когда она нападала на сестру, но не заступалась за нее, как сделала бы то всякая честная и вполне искренняя девочка. Я это делала не по злому намерению, а потому, что решала, что «все равно их не примиришь, а старуху не разуверишь!». Вот и молчала из малодушного желания жить в мире и согласии с m-me Pecquoeur и отчасти из удовольствия слышать, как она *одну меня* хвалит и всегда старшим ставит в пример.

Я тогда не понимала всей нечестности моего поведения; но после, когда поняла, я его очень стыдилась и сознательно каялась в нем.

Ничего не осуждая в людях так сильно, как лицемерие и двоедушие, я не без намерения остановилась на этой, крайне несимпатичной мне теперь черте моего детства. Я пишу правду, а не вымысел, а потому должна рассказывать все; но мне приятно было бы этим сознанием оградить свою сестру от нарекания читателей.

Елена была живая, восприимчивая, удивительно талантливая девочка. Ею многие восхищались, но еще больше ее многие боялись, а другие и не любили, боясь ее смелой искренности, ее всегда непредвиденных остроумных, а подчас и очень злых насмешек. Ей сильно и часто доставалось за ее выходки; но выговоры с нее сходили, по поговорке, – как с гуся вода!.. Задумывая и исполняя какое-нибудь coup de tête (безрассудный поступок), она никогда не боялась последствий и вообще о будущем задумываться не любила. Ее остроумные ответы и меткие слова запоминались и повторялись, доставляя ей много триумфов, а прозвища, даваемые ею людям, оставались иногда на них во всю жизнь. Она умела подмечать слабости человеческие, и странности, и дурные свойства, но никогда не смеялась над несчастием, над уродством физическим. Она, напротив, обиженным всегда бывала готова помочь, а своих обид никогда не помнила. Невозможно было быть менее злопамятной, чем она, и прощать искреннее всех своих недругов. Эта прекрасная черта всю жизнь ее отличала.

Скажу на прощание еще несколько слов о m-me Pecquoeur. Мы более никогда не видались с нею. Когда мы зимою переселились в город, она гостила у своей замужней дочери и не возвращалась до лета; а мы весной того 1847 года совсем уехали в Тифлис. Это был страшный для многих местностей в России холерный год. В Саратове холера была очень сильна; вымирали целые семьи, умерли в один и тот же день и оба старика, m-r и m-me Pecquoeur.

Мы узнали о смерти их и многих знакомых своевременно; но каково было удивление наше, когда через год после этого приехал один господин из Саратова в Тифлис и привез пакет на имя тетки нашей, Надежды Андреевны. Там оказались великолепно переписанные мастерским

[135] Лизанька Добромыслова – героиня пьесы «Великодушие в низком состоянии», которая была опубликована в журнале «Детское чтение для сердца и разума» (1786, ч. VI, №20–21).

почерком Каролины-Генриет[т]ы Пекер все нравившиеся нам песни, баллады и юмористические куплеты, которые она, бывало, распевала своим дребезжавшим голоском. То был ее посмертный подарок – знак того, что она искренне простила своим непокорным, насмешливым ученицам и не забывала о них.

Подарок этот очень растрогал Надю и Лелю, а у меня часть его и доныне в сохранности.

IV
Тихие дни

Доктора из города мы не дождались с обратными лошадьми, отвозившими m-me Пекер в село Покровское, откуда надо было переезжать на другой берег Волги: ледоход начался сильный, и он побоялся переправы. Но не побоялась ее наша любящая, вечно готовая забыть себя для нашего блага, дорогая наша Антония Христиановна.

Прослышав, что Лида очень болен, испугавшись за него и за бедную, одинокую тетю Катю, она забыла о своей собственной болезни и, рискуя жизнью, в ненастье, под ветром и мятелью[136], переехала Волгу, взбудораженною льдинами, каждую минуту грозившими затереть и опрокинуть ее лодку. Проехав день и всю ночь, она к утру следующего дня доехала к нам совсем больная.

Но пока Леонид болел, она не обращала на свою простуду никакого внимания, она силой воли не позволяла себе расхвораться, но, выходив его, как только прошла опасность, она сама слегла, чтоб с этих пор никогда уже вполне не быть здоровой. При общем расстройстве ее здоровья, при недоконченном лечении эта последняя простуда положила начало страшной болезни, от которой она и скончалась через три-четыре года.

Хотя я в то время далеко не предвидела страшного значения и исхода ее нездоровья, тем не менее, частые страдания и постоянная слабость моей дорогой, вечно бодрой, вечно, бывало, деятельной Антонички приводили меня в недоумение и уныние страшные.

«Что же теперь будет? – думалось мне. – Бабочки нет, все родные уехали, тетя горюет, что у нас ни гувернантки, ни учителей, а тут еще – самое ужасное! Антония совсем больна... Что мы будем делать?»

Через недели две-три ей полегчало. Она было встала с твердым намерением взяться за дело, но как ни крепилась и ни бодрилась – сил совсем не было! Доктор, который, наконец, приехал из Саратова, как только Волга стала, сказал, что ей надо очень себя беречь. Заниматься с нами – и думать нечего! Надо хорошенько отдохнуть: рано ложиться, поздно вставать и ничем не волноваться, а беречь себя от всякого утомления и беспокойства.

Она было возмутилась: что за вздор! Какая-нибудь вздорная лихорадка, а тут дети сколько времени без уроков... Но тетя ей и договорить не позволила.

– Пустяки! – объявила она. – С Лелей я сама и Юлий Федорович займемся, да и с Верочкой тоже... Да она еще может и попраздновать лишний месяц, – Бог с ней!.. Только вы поправляйтесь!

Антония покачала сомнительно головой.

Я знала, что она на мои уроки смотрит гораздо серьезней и требовательней, чем тетя Катя, и тут же решила, насколько хватит моих сил и способностей, успокоить ее насчет меня.

Антония уже заранее составила распределение моих с ней занятий, чрезвычайно разнообразных, так как все мои прежние уроки с бабушкой и с гувернанткой теперь пали на нее одну. Я тихонько переписала его, отделив все то, что я могла исполнить одна, без ее помощи.

Когда на следующее утро она проснулась позже, чем предполагала, и заспешила, боясь, что мы не успеем окончить уроков в определенное время, я с сильно бившимся сердцем объявила ей, что половина их уж у меня готова... Я старалась говорить как можно равнодушней, хотя была так довольна собою, что мне хотелось во весь рот улыбаться. Я бы очень охотно даже запрыгала и запела от радости, если бы не считала необходимым сдерживаться собственного достоинства ради.

Антония отнеслась было довольно недоверчиво к моим самостоятельным занятиям; но, спросив у меня уроки, которые предполагала сначала мне растолковать, убедившись, что я все поняла в них и что письменные задачи мои тоже приготовлены удовлетворительно, не скрыла

[136] метелью (*устар.*).

своего удовольствия.

– Ну, если я так буду заниматься всякий день? – спросила я, как всегда говоря с ней по-французски. – Если буду вставать рано и аккуратно делать одна все, что могу, вы тогда будете позже и дольше отдыхать, как велит доктор?

– Конечно, буду, – согласилась она, обняв и крепко меня целуя, – а главное то, что я буду душевно спокойна за твои успехи, что этим ты вылечишь меня скорее всяких лекарств.

– Ну, вот и слава Богу! – весело сказала я, чувствуя, что мной все сильнее овладевает счастливое, праздничное настроение, точно такое, какое бывало у меня в раннем детстве на Пасху или на мои именины.

– Но только не забудь, что на это есть условие! – продолжала серьезно Антония. – Необходимо, чтоб добрые твои намерения не прерывались и не ослабевали. Если я замечу, что общие наши занятия идут неудовлетворительно из-за того, что ты свои одинокие уроки готовишь невнимательно, – я, конечно, не скажу тебе ни слова, потому что на эту помощь мне – твоя добрая воля! Но если она ослабнет, я тотчас же начну вставать рано и, как бы это меня ни утомляло, не позволю тебе заниматься одной, без моей помощи...

– Eh bien? Encore!.. Еще что? – в негодовании прервала я ее оскорбительные речи. – Это уж мое дело! А вы никакого права не имеете заранее мне не доверять.

И, так самостоятельно заявив свои права и намерения, я убрала тетради и величественно направилась в столовую пить чай. Но на пороге, перед запертой дверью, не воздержалась и подпрыгнула козлом от радости.

Я, однако, сумела выдержать характер. Во всю зиму рассвет ни разу не застал меня в постели. Без огня я одевалась только по праздникам; а в будни при свечах, до света дневного, успевала приготовить большую часть своих уроков.

Я, наконец, так свыклась с моими одинокими занятиями в предрассветной мгле под аккомпанемент тикания часов в соседней комнате да всеобщего сонного дыхания и всхрапывания кругом, так втянулась в них, что полюбила свое вставание до петухов и стала его пересаливать. Мое новое препровождение времени нравилось мне своей таинственностью и оригинальной самостоятельностью… Антония, бывало, нарочно старается с вечера задержать меня подольше, занять чем-нибудь, но у меня уж с восьми часов глаза совсем слипались. Я уходила спать раньше маленького брата: полусонная раздевалась и, едва прочитав молитвы, теряла сознание. Зато в начале пятого часа я сразу просыпалась, будто кто толкал меня, и в тот же миг вставала, бодрая и в полном сознании своих обязанностей.

– Смотри, Вера! – смеялись домашние над моей ретивостью. – Ты, наконец, начнешь спать целый день, а вставать с вечера.

– Только бы она когда-нибудь пожара не наделала! – опасался дядя.

Но тетя Катя и Антония успокаивали его тем, что на мой широкий и глубокий подсвечник всегда налита вода и свеча крепко вставлена.

Мои ранние одинокие уроки в тиши и мраке зимних ночей всю жизнь вспоминались мне приятно, и я поныне удивительно отчетливо помню все свои ощущения.

Проснешься, бывало, неожиданно, будто позвал кто-нибудь; вскочишь разом, сознавая, что каждый миг дорог, и заторопишься. Нащупаешь спички, засветишь свечку и торопливо хватаешься за чулки, за белье… Легкая дрожь пробегает по спине, а концы пальцев захолодеют, пока набросишь на себя юбку да кофточку. А уж мыться-то как холодно, – ой-ой! Заранее вся трясешься, глядя угол, где стоит умывальник. Наливать воду, умываться и вообще двигаться надо как можно осторожнее, чтобы не нашуметь, не разбудить никого, особенно не помешать сну тут же за ширмой спавшей Антонии.

Одевшись потихоньку, на цыпочках, захватив свечу, прокрадешься в пустую, сумрачную столовую, где в уголку стоял мой столик с книгами, и тут вздохнешь вольнее.

Скорей за дело!

И вот я устраиваюсь на своем обычном местечке; прислушиваюсь по привычке, трещат ли дрова в коридорной печке, затопленной вместе со мной вставшим истопником, или не успели еще разгореться, и принимаюсь за тетради и книжки: вытаскиваю грамматику, географию, переводы, extraits. Последние – выписки или, вернее, описания по памяти прочитанного накануне

– всегда имели двойную задачу: как упражнение на французском языке и как уроки истории. Я более всего любила делать эти извлечения.

Начиная с этой зимы до моих четырнадцати лет, я таким образом прошла всю многотомную историю графа Сегюра[137]; но более всего образы героев древней Греции и Рима связаны в памяти моей с моими предрассветными занятиями на ферме. Я до сих пор не могу вспомнить о каком-нибудь Эпаминонде[138], Бруте[139] или Цинцинате[140], чтобы тотчас не восставали предо мной знакомые образы и ощущения.

Мысль как-то раздвоялась: воображение ярко представляло чуждые картины битв и подвигов великих людей и жизнь давно отошедшего в вечность мира; мое перо так и бегало, описывая их, по бумаге; а я сама, между тем, чутким ухом прислушивалась к своему родному, близкому, обыденному мирку. Слышишь, как он просыпается, и каждое движение, каждый звук мгновенно олицетворяется картиной…

Вот уж одиночное звонкое пение петухов, давно перекликавшихся во мраке, стихло. Послышался гогот и крякание и тяжелое хлопание крыльев гусей, уток, всякой домашней птицы. Значит, птичники отворили... Сейчас будут кормить их... Ишь, как радуются!

По двору мимо окон проскрипели по снегу тяжелые шаги: это сторож идет к воротам отпирать их. Ага!.. Вот он взялся и за ставни... Отпер и их, но еще совсем почти темно. Ярко выступили на стеклах узоры, белые папоротники и кораллы, выведенные морозом, великим фантазером-живописцем. Еще долго будут мигать звезды на темном небе, если не закрыто оно серыми тяжелыми тучами, из которых, словно пух из перины, сыплется белый снежок, все посыпая, все устилая мягкими, чистыми коврами.

Но вот уж доносится рев, мычание и блеяние – значит, свет близок: на скотном дворе при огне не работают... Ну!.. Вот и в самом доме проносятся шорох, сдержанная зевота, движение. Чу!.. Скрипнула в девичьей дверь; ключи бабы Капки звякнули, загремела посуда... О! Да, значит, день уж совсем близок. Надо поскорее кончать!..

И спешишь скорее, скорее дописывать последние строки, с сомнением поглядывая на побледневшее, заколыхавшееся от заходивших по всему дому дверей и людей пламя догорающей свечи... Скоро она и не нужна больше. И теперь ее желтый свет еле борется с бледным, ленивым рассветом морозного утра…

Последнее слово события в далекой, чуждой мне жизни полководцев, консулов, императоров-привидений – дописано! Моя закоченевшая рука с наслаждением отбросит перо и, откинувшись на спинку стула, я сладко потянусь, закинув руки за голову, зевая и в то же время сама себе улыбаясь.

Ну, теперь можно и встать, вскочить со стула… Ой! Как затекли ноги!.. С трудом, вприпрыжку, иногда на одной ножке доберешься до окна, подуешь на мерзлые стекла и стараешься разглядеть, – какова погода? Но за окнами все слилось в белую мглу, и даже не разобрать в ней, где земля кончается и начинается небо.

«Уж пора бы всем вставать! – невольно затоскуешь, прислушиваясь... – О! Вот уж и восемь часов никак бьет».

Но часто оказывается, что бьет только семь, и приходится еще за столик присесть на полчасика, пока не раздастся за дверями ласковый голос.

– Entrez donc! Je ne dors plus!.. Я уж не сплю. Войди! – и довольная собою, весело распахнешь двери общей нашей спальни; вбежишь за ширму к Антонии и заболтаешь, рассказывая, что успела за утро приготовить, – что именно выучено, что написано; а самой так на душе хорошо!.. Особливо, если Антония улыбается, скажет, что лучше спала ночь и чувствует себя бодрой.

Хотя иногда, при виде своей не застланной еще кровати, одолевало желание свернуться в ней

---

[137] Сегюр Луи Филипп (1753–1830) – французский историк и дипломат.

[138] Эпаминонд (ок. 410(418)–362 до н.э.) – военный и политический деятель Древней Греции.

[139] Марк Юний Брут (85–42 до н.э.) – римский политический деятель и военачальник, известный в первую очередь как убийца Гая Юлия Цезаря.

[140] Луций Квинкций Цинциннат – древнеримский патриций, консул 460 г. до н.э., римский диктатор 458 и 439 гг. до н.э.

клубочком и заснуть полчасика, но шум и движение проснувшегося дома, в особенности смех и радостные крики у мальчишек в детской, куда бежишь сейчас же поиграть с Люсей и Сашей, поболтать с Леонидом, – скоро разгоняли чувство легкой дремоты. За утренним чаем чувствуешь себя так бодро и весело, что, кажется, век бы не спать – и не устать! Век бы болтать – не перестать!

V
Сельские удовольствия

Уж то-то радость бывала, когда дядя Юлий Федорович за чаем подмигнет весело на меня да на Антонию и, многозначительно крякнув, скажет:

– А славный сегодня денек!.. Я в поля хочу съездить... Лида со мной просится, да мне с ним одному, самому правя, не справиться... Вот если бы Антония Христиановна Верочке позволила нынче вместо премудрых наук практическим сельским хозяйством заняться, – хорошо бы нам с ней поля осмотреть... Как вы думаете: разрешит она?

– Разрешит! Разрешит! – уверенно отзывалась я, не обращая внимания на то, что Антония головой покачивает и старается брови нахмурить.

По улыбкам тети Кати, да и ее самой, я знала, что серьезного протеста против «практических уроков сельского хозяйства» не будет, и весело бежала одеваться, почти готовая так же визжать от восторга, как заливался мой семилетний братишка.

Подавали дядины легкие саночки, крытые ковром. Он садился на скамейку и брал вожжи в руки; я рядом с ним, а Лида между нами, неизменно придерживая конец вожжей в рукавицах и воображая, что сам он не бездействует – помогает «дяде Вите» сдерживать лошадей.

Ярко, всеми цветами радуги, искрились на солнышке белоснежные поля. Занесенного высокими сугробами Еруслана и узнать нельзя было; кусты и деревья стояли по берегам его все разукрашенные. Словно коралловые, посыпанные бриллиантовым порошком, красовались они; а тени их ветвей голубоватым, прозрачным кружевом ложились на блестящую гладь девственных снегов, еще прибавляя очарования волшебно-красивой картине зимнего солнечного дня.

А возвратившись, с новым жаром, с большей еще охотой принимаешься, бывало, за отложенные, но никогда не пропускавшиеся уроки.

У!.. Антония на этот счет бывала неумолима!

Раза два у нас устраивались общие, более шумные катанья в нескольких широких розвальнях тройками с колокольчиками и бубенчиками.

Раз даже, помню, мы все ездили на большую волчью охоту, поневоле устроенную дядей. Зима была суровая, снежная. Бедным волкам приходилось плохо, – вот они и рыскали по ночам так близко к жилью, что их вой часто раздавался чуть не под самыми окнами. В загонах то и дело оказывались растерзанными овцы; куры и гуси чуть не каждый вечер исчезали, оставляя по себе только перышки. А раз ночью пропала бедная телочка, и утром нашли ее окровавленный остов за гумном.

Но, несмотря на все волчьи преступления, мне все же было очень жаль этих бедных голодных преступников! Несколько их, гонимые верховыми и собаками, пробежали очень близко от холмика, с которого мы смотрели, не вылезая из саней. У них был такой несчастный, измученный вид!

Один еле тащился, хромая; другой оставлял по снегу алый след крови... У нас на глазах их догнала рассвирепевшая стая собак, набросилась, повалила обоих...

Я поскорей отвернулась, закрыв муфтой глаза, чтоб не видеть этой последней, неравной битвы и гибели бедных растерзанных животных. Но мой маневр не помог: едва отняла я руки от лица, думая, что по другую сторону ничего не увижу, как передо мной в нескольких саженях мелькнуло сиявшее торжеством лицо охотника, спрыгнувшего с лошади и заносившего нож над своей бессильно барахтавшейся жертвой, тогда как другие в отдалении вскачь гнались за убегавшими мохнатыми товарищами ее... Я следила с замиранием сердца за широкими, смелыми прыжками одного из них и всей душой желала ему скорее скрыться в густом кустарнике оврага, – но не тут-то было! Грянул выстрел... Волк взвился на сажень вверх и плашмя растянулся на снегу,

обагряя его своей дымящейся кровью.

Я твердо решила в эту минуту, что никогда более не поеду смотреть охоту.

За завтраком Леля вздумала надо мной подсмеиваться, что я так боялась выстрелов, что закрывала глаза от страха; она и Лиду научила надо мной смеяться, называя трусишкой.

– У! У!.. Большая, а такая глупая! Думала, что волк в сани вскочит! Съест ее! – кричал наш рыжий мальчуган, прыгая вокруг меня и заливаясь смехом. – Я маленький – да не боялся. Я сам волка убью!

– За что? – спросила я. – Разве не жаль бедного зверя, когда он в крови барахтается, умирает?.. Ведь ему больно! За что его мучить?

– Вот хорошо! А за что он наших баранов и кур душит и поедает?

– А ты разве кур и баранов не поедаешь? – спросила я. – Волк ведь тоже есть хочет... Он не виноват, что зимой ему в лесу ничего не найти.

И затеялся у нас спор горячий, в котором сестра, впрочем, мало принимала участия, только меня с Леонидом подзадоривая и над обоими подсмеиваясь. Но ее поддразнивания с некоторых пор потеряли свое прежнее для меня значение и редко выводили меня из терпения.

Я становилась большим философом, что не мешало мне, на двенадцатом году, еще быть во многом ребенком. Говорю это, вспоминая, какое искреннее удовольствие доставляли мне игры с Лидой, шумная беготня по комнатам с ним и с Андрюшей, прятки, жмурки и переодевания во всевозможные лоскутья и бумажные маски, которые дядя умел клеить и раскрашивать на нашу потеху с большим искусством.

Немало забавы и удовольствия доставлял всем наш красавчик, умница и общий любимец, беленький, голубоглазый Люся. Прелестный и удивительный это был ребенок! Необычайное развитие его понятий и способностей шло так быстро, что явно грозило ему недолговечностью; но никто в то время об этом несчастии не думал. Все только радовались и восхищались им.

В два года Андрюша знал почти всю печатную азбуку. Называл по картинкам маленькой естественной истории всевозможных зверей по именам; он знал множество коротеньких стихотворений на память, говорил их со смыслом; верно пел разные песни и начинал болтать по-французски. Он то и дело нас удивлял изумительными для такого крошки выходками: то замечаниями, то ответами, то собственного сочинения рифмами, вроде: «У бабы Капки – черные лапки» или «Monsieur Tutardo – a mal au dos!»[141] Старый дядька-швейцарец часто приходил в восторг, ставя его в пример Леониду, уверяя, что Люся скорей будет говорить по-французски, чем он.

Но чем Андрюша всех поразил, это собственноручным письмом к бабушке. Да не подумают, что я фантазирую: двулетний ребенок пишущий?! Да.

Письмо это, понятно, заключалось в нескольких словах: «Целую бабу, деду, тетю. Скоро приеду сам на лошади» – вот и все; но, тем не менее, эти несколько слов составлены были совершенно понятно печатными буквами, списанными им из его азбуки.

На восприимчивую головку ребенка, вероятно, подействовали постоянные наши речи о письмах в Тифлис, ожидания известия оттуда, общая радость, когда приходили они, доставляя материал для бесконечных разговоров на целую неделю до новой почты. Вот он и рассудил, что и ему необходимо принять участие в общей, деятельной переписке.

Нечего и говорить, какое изумление и радость возбудило это послание у нас и в Тифлисе. В ответ на него Люсе были присланы белая черкеска с мохнатой папахой и кинжалом (конечно, не вынимавшимся) в серебряной оправе на золотом поясе, что его привело в восторг невообразимый. До сих пор любимой песнью его было:

«Ой, жги, жги! говори: рукавички сафьяновые!
Рукавички-то сафьяновые – а сапожки-то барановые».

Этот припев он певал, когда был в духе; а когда сердился, особенно, если его кто побранит, он, бывало, отвернется и затянет:

[141] «Месьё Тутардо – а маль о до!» (*фр.*) – «У месье Тутардо болит спина!».

«Ой, калина, ой, малина, в саду ягода моя!»

И таким презрительным взглядом окидывал всех, что невозможно было не смеяться.

Теперь же явился другой задорный припев. Нарядившись в свою черкеску и папаху, он сразу сообразил, что необходимо петь *«черкесскую песню»*, и с помощью моего задорного братца, одновременно с ним получившего такой же костюм, сложил новое двустишие:

«Мы уедем на Кавказ –
Всех черкес убьем как раз!»

И целыми днями они, играя в лошадки или вместе скача на одном коне – на серой *деревянной* огромной лошади, которая называлась «Васькой», тянули и воинственно выкрикивали свою угрозу всем черкесам.

В половине декабря мы переехали обратно в город, – но совсем в другую часть Саратова и при других условиях. Это была наша последняя зима в России, – даже в пределах Европы... Весной нам предстоял далекий путь. Но надо рассказывать по порядку.

VI
Перемены

Я сказала выше, что становилась большим философом, – это была правда: со мною, точно, в эту зиму творилось что-то особенное.

Теперь, глядя издали на далекое прошлое, я вижу ясно, что во мне, не столько в характере, как в понятиях и во взглядах на все окружавшее, свершался перелом. Моя сравнительная самостоятельность, мои одинокие занятия по утрам, болезнь Антонии, мои сердечные о ней заботы, долгие, серьезные разговоры, когда я, сидя возле нее, благоговейно вслушивалась в ее речи, – имели на меня огромное влияние. Я с детства была и решительна, и устойчива в своих намерениях; теперь же убеждение, которое она старалась поселить во мне, что у меня одной уже не будет столько гувернанток и учителей, как было у нас всех вместе, и что поэтому я должна сама заботиться о своем образовании, заставляло меня все горячее и серьезнее относиться к своим урокам. Кроме того, я очень много стала читать и все по ее выбору. Я так верила ей, так любила свою Антоничку, так жалела о ней в ее страданиях, что готова была все для нее сделать, свято исполнять все ее указания. Понемногу я сама стала интересоваться историческими книгами, путешествиями и т.п. чтением, точно так же, как прежде увлекалась одними сказками. Понятно, что эти чтения имели сильное влияние на развитие не только моего ума, но и серьезной стороны моего характера. Мечтательность и все мои детские фантазии отходили на второй и десятый планы; понятия мои расширялись, я начинала задумываться об отвлеченных чувствах, о неведомых дотоле вопросах, приобретавших в уме моем все большее значение и вес. Зато многое близкое, то, в чем прежде, казалось, заключалась вся суть жизни, теперь теряло значение и всякую силу надо мной...

Вот почему влияние сестры Лели, начинавшей в то время уж окончательно жить своею жизнью – жизнью взрослой девушки, с интересами которой у меня ничего общего быть не могло, значительно ослабело. Ее насмешки меня совсем перестали трогать, потому что она сама уж не представлялась мне таким авторитетом, как прежде. Сестра меня переросла в эти решительные два-три года, когда девочка делается молодой девушкой; брат Леонид не мог мне еще быть товарищем; я теперь совсем осталась бы одна, если б не Антония, – не ее удивительное умение приноравливаться ко мне, умаляться до меня, чтоб скорей и вернее поднять меня до себя.

Я вся была – ее создание!.. Как с самых малых лет она меня всю, с ног до головы, обшивала и одевала своими руками, так лет с десяти она одна нравственно мною правила, отшлифовывая каждую мысль мою, развивая каждое чувство.

Тайной ее великой силы над душой моей была прежде всего ее великая любовь; потом ее собственная душевная чистота и безграничное *доверие, дружба, равенство*. Впоследствии я

поняла, что она действовала рассчитано, по плану; эта система ее воспитания – влияния посредством дружбы и полной откровенности – была единственным ее лицемерием, ложью во спасение мое. Я тогда, и долго еще после, вполне была убеждена, что наша с нею *дружба*, как равной с равной, была вполне естественна. Чувствуя необходимую потребность, в продолжение всей ранней юности моей, поверять ей все свои помыслы и чувства, я была совершенно убеждена, что и она испытывает такое же искреннее желание быть откровенной со мною.

Дети – народ чуткий. Если бы Антония действовала *только* под влиянием расчетов и рассудка, я, наверное, почуяла бы фальшь; а раз поняв, что она не по искреннему влечению, а преднамеренно, по расчету, делает меня участницей своей внутренней жизни, я бы сейчас возмутилась, устранилась и – кончено! Она, потеряв мое доверие, утратила бы и свою безграничную власть надо мною. Но этого случиться не могло именно потому, что главным двигателем ее действий было чувство живой, самоотверженной, всеискупающей любви.

Никакая дисциплина, никакая строгость, никакие разумные внушения никогда не могли бы достигнуть таких полных результатов, не могли бы возбудить такого слепого повиновения, такой сознательной покорности руководящей воле, какие были во мне в силу моей уверенности, что Антония мне *вполне* доверяет, *ничего не приказывает*, но знает, что из любви я сделаю все для нее, как и она сделала бы для меня. В этом была вся сила ее безграничного авторитета.

Мои ранние занятия и деятельная, совсем особая жизнь продолжались и в городе. Мы с Антонией занимали комнату наверху, в мезонине, а возле нас в другой маленькой комнате спали Леонид с своим дядькой. Все остальные разместились в нижнем этаже, где были комнаты довольно просторные, хотя нам, избалованным большим губернаторским домом, все они казались чуланами.

Елена была страшно недовольна нашим помещением. Она первые дни никак не могла успокоиться... Все ходила по зале в три окна да по гостиной в два окошка и все ворчала:

– Вот беднота… Ну, уж спасибо!.. Если б здесь пришлось долго жить!.. Слава Богу, до весны недалеко. Надя пишет, что в Тифлисе есть отличные дома, – лучше, чем в Саратове... Авось, опять заживем по-людски!

– И все вы вздор говорите, Lolo! – вразумляла ее Антония. – Молите Бога, чтобы всю жизнь вам в таких, как этот, домах прожить.

Но ее вразумления плохо действовали. Леля продолжала презрительно относиться к нашему новому образу жизни и только и мечтала о Тифлисе, о выездах, о балах у наместника, где готовилась очень веселиться.

Мне наше житье нравилось. Немножко странно и грустно было, правда, проходя по соборной площади, смотреть на *наш* дом, не имея права войти в него; но зато я утешалась близостью Гречинских: их дом был против нас, на той же Сенной площади, и, разумеется, на прощание мы виделись часто.

У нас с двух сторон дома шла стеклянная галерея, куда поставили Люсину большую лошадь и где мальчики играли, когда нельзя было гулять по двору или в небольшом садике. Двор был очень большой, и в глубине его на цепях, в конурах своих, жили две очень злые собаки Дианка и Бирка. Так как они всегда грызлись и друг на друга лаяли, то меня с Лидой за то, что мы часто ссорились, прозвали тоже их кличками, что меня, «благоразумную девицу», очень обидело сначала; но потом только смешило, потому что Лида, как только кто-нибудь прикрикнет на нас: «Ну, чего ссоритесь, Дианка и Бирка?», постоянно, весь нахмурившись, сердито отвечал:

– Я – Дианка! Она – Бирка, потому что Бирка злее!

VII
Кошачье царство

У нас были пресмешные хозяева – Новиковы. Они жили тут же, во флигеле. Жена была гораздо старше мужа, очень толстая, и жизнь свою проводила не с людьми, а с кошками. Серьезно!.. Она кошкам отдавала все свое время, все заботы, чувства и помыслы.

У нее было целое кошачье царство: кошачьи детские, больницы, пансионы и богадельни. В последних помещались старые ветераны или неизлечимые больные, инвалиды. У нее на

постоянном жаловании состоял ветеринар, каждый день посещавший ее кошачье заведение. Кроме того, *в няньках* состояла старушка, презренная ею для исправления должности сиделки при больных кошках. Двое мужчин, две взрослые женщины и три девочки-подростки состояли в специальном услужении у кошек; а про нее самое – что и говорить! Она вся была к их услугам. Сидела целые дни вся облепленная котами и котятами, и если для кого-либо в мире во всякое время дня и ночи готова была грузно подняться с кресла и оставить свое вечное чаепитие, то единственно для своих возлюбленных Машек, Васек и Белянок.

Мы узнали об этом оригинальном кошачьем приюте из того, что три девочки – Лиза, Таня и Марфуша – целые дни проводили в бегании по двору, по саду, по чердакам и подвалам за поисками беглянок, выкрикивая: «Маркизка! Маркизка!.. Чернушка! Чернушка!.. Пестрянка! Белянка! Василий Иваныч, Васенька, Вася!»

Василий Иванович, большущий кот, и хорошенькая светло-серая Маркиза были любимцами хозяйки, и, кажется, больше всех любили путешествовать по крышам. Их клички всего чаще раздавались во всех концах двора и сада; а сбитые с ног поисками девочки проклинали их проказничество, но никогда не смели не только пальцем тронуть их, но даже высказывать малейшее неудовольствие.

Бедный хозяин дома больше всех терпел от этой страсти своей супруги, по виду годившейся ему в матери. Он тем только и спасался от мяукания, мурлыкания, прыскания и визгливых драк кошачьего царства, что, следуя примеру «Василия Ивановича», с утра до поздней ночи пропадал из дому. Он жаловался, что жена его выгоняет из дому своей страстью. Что он местечка не находит у себя, чтобы сесть безопасно, не раздавив котенка, не наступив на хвост коту и не выпачкавшись в кошачью шерсть.

– Поневоле, проработав утро, едешь не домой обедать, а в клуб, да там же норовишь и весь вечер остаться, если в гости не отозван! – жаловался он нашему дяде.

Новикова, хотя и выгнала мужа из дому ради кошек, хоть была беспощадно строга и взыскательна в отношении благополучия их к прислуге, но, в сущности, была добрая, ласковая женщина, много помогавшая бедным. На ее счет две сиротки воспитывались в «бабочкином» приюте; а так как, несмотря на отъезд родных из Саратова, начальница приюта навещала нас, а ко мне иногда еще приходили приютские девочки, то я узнала сейчас же и воспитанниц нашей хозяйки, а они передали ей мое любопытство на счет ее кошачьего пансиона... Новикова сейчас же прислала просить нас – меня, Лелю и Леонида – к себе в гости. Тетя нас отпустила, и мы – я, по крайней мере, – очень заинтересовалась ее заведением.

Я потом его несколько раз посещала, но мои посещения прекратились вследствие непредвиденной катастрофы.

У меня завелась собачонка, которую я очень полюбила. Розка мне отвечала взаимностью и всюду за мною бегала. Раз я пошла навестить интересную семью котят, покоившихся с своей мамашей в корзинке на пуховичке, и не заметила, как Розка за мной вбежала в кошачью детскую, и – Боже! – что тут произошло!..

Розка, увидев себя окруженной врагами своей породы, подняла неистовый лай, не зная, на какую кошку бросаться. Коты, кошки и котята ощетинились, подняли хвосты трубами и затянули такой концерт, что воем, фырканием и визгом даже заглушили вопли хозяйки, отчаянно топавшей ногами и махавшей платком и руками на бедную мою собачонку, а та храбро справляла свою обязанность, разгоняя вражью породу по всем углам…

Тут явились девчонки и бабы, кошачьи надзирательницы со щетками и метлами. Розка в эту минуту, разогнав женское и детское население, мужественно делала стойку пред огромным рыжим котом Буркой, изогнувшим перед ней спину колесом, вздернувшим хвост, готовым вцепиться в нее при первом ее наступательном движении. Буркины зеленые глаза метали искры, но Розка мужественно выдерживала его вызывающей взгляд... Я напрасно призывала ее к порядку, уверенная, что ей же, глупой, достанется от когтей разъяренного Бурки, если они сцепятся. В этот момент в мою бедную собачку полетел веник, ловко брошенный кем-то, но, к счастию, Розка с Буркой в тот самый миг прыгнули в разные стороны, и веник угодил прямо в кота. Тот фыркнул и с злобным воем метнулся под стол; а я поспешно набросилась на Розку и, схватив ее, не прощаясь с хозяйкой, отчаянно кричавшей на злополучную, промахнувшуюся веником девчонку, выбежала,

смеясь как полоумная, во двор – и домой.

Дианка и Бирка, потревоженные кутерьмой в хозяйском флигеле, провожали меня неистовым хриплым лаем, на который Розка у меня на руках, несмотря на мои шлепки, отвечала громким тявканием.

Все в этот день смеялись над моим юмористическим рассказом о переполохе в кошачьем пансионе; но Антония посоветовала мне прекратить свои посещения во избежание неприятностей с хозяйкой.

Я и сама видела, что Новикова сердилась на меня, вероятно, за то, что я во время битвы Розки с Буркой очевидно высказывала более симпатии первой, а потому более не навещала ее кошачьего царства.

VIII
Графиня-сорванец

Наши последние саратовские святки прошли весело. Мы, подростки, и Лелины подруги, барышни постарше, несколько раз собирались у нас, у Гречинских и других знакомых, гадали, переряживались и вволю смеялись. Семнадцатилетней Машеньке Гречинской наши гадания напророчили свадьбу, и точно, она той же весной вышла замуж. Леля на ее свадьбе была «подругой», впервые появившись в обществе в качестве взрослой барышни.

Бывали мы и в театре раза два-три. Один вечер я в особенности запомнила: и спектакль был презанимательный, и, кроме того, мы сделали интересное знакомство.

Давали волшебную пьесу: *«Вот так пилюли!»*[142] с самыми удивительными и уморительными превращениями: людей – в индюков, портретов – в живых обжор, колодцев – в цветущие беседки, и прочими чудесами. Тут были и карлики, и великаны, и волшебники, и колдуньи, и гении, и чертенята, и всякий живописный и смехотворный вздор, смешивший всех зрителей, а тем более детей, которых в этот вечер в театре было очень много.

Я заметила в партере мальчика лет десяти, очень хорошенького и нарядно, по-заграничному, одетого в бархатную курточку, с кружевным воротничком, на который падали длинные белокурые локоны. Мальчик, казалось, чувствовал себя в этой многолюдной зале театра как дома и вел себя очень неприлично: громко хохотал, вскакивал, аплодировал и так бесцеремонно делал замечания, что в ложах его мнения всем стали известны. Он выкрикивал их самым отборным французским языком и бойким, картавым парижским жаргоном говорил такие глупости, что смешил публику не менее актеров на сцене. Все решительно на него обратили внимание, а господину, к которому он обращался, никак не удавалось его усмирить.

Когда настал антракт, этот шаловливый мальчишка стал проделывать совсем невозможные вещи: перепрыгивал через стулья, садился верхом на ногу к своему соседу, начинал мурлыкать песни и, наконец, верно, скучая ждать, повернулся лицом к сцене и, вскочив на свой стул, закричал по-русски самым непозволительным выговором:

– О-ге! Господа актер!.. Начинайте уж! Отчего вы себя спрятались?

Весь театр, в изумлении, обратился в их сторону. Иные смеялись, другие выражали негодование. Бедный господин, сидевший рядом с этим шалуном, в смущении заставил его слезть со стула и усадил, очевидно, стараясь пристыдить его.

– Тетя Катя, – тихонько воскликнула Леля, – да ведь это граф П[ото]цкий[143], дяди Рости

---

[142] «Пилюли дьявола» – волшебная опера-водевиль французских драматургов Огюста Анисе-Буржуа (1806–1870), Фердинанда Лалу (1794–1850) и Климента Филиппа Лорана (?–1872). В России пьеса была поставлена под названием «Вот так пилюли! Что в рот, то спасибо!».

[143] Потоцкий Мечислав Станиславович (1799–1878) – польский аристократ, магнат, авантюрист; был выслан в 1845 г. в Саратов за «безнравственные и жестокие поступки» по отношению к супруге.

«В сороковых годах в Саратове проживало много сосланных поляков, из числа которых были особенно выдающимися старик прелат и граф Потоцкий, владетель Тульчина. Потоцкий, располагая громадными средствами, жил в Саратове очень скромно и позволял себе только одно удовольствие, вполне гастрономический стол. Он был удручен своей ссылкой, о чем часто говорил, и заверял о своей преданности государю, видимо, избегая сближения с находившимися в Саратове земляками. Но, несмотря на это, не мог ничего придумать для облегчения своего положения. И вот, однажды, губернатор Кожевников получает из третьего отделения извещение о существовании в

приятель. Разве вы не узнали? Это верно его сын...

– Нет!.. У него нет сына!.. Дядя, кажется, говорил, что у него маленькая девочка, дочь, – возразила тетя.

– Это тот самый граф П[ото]цкий, о котором дядя рассказывал, что он так смешно говорит по-русски? – спросила я.

– Ну, да, да! Я, как он обернулся, сейчас его узнала, – подтвердила сестра.

И мы, тихонько смеясь, начали вспоминать рассказы дяди Ростислава об этом очень богатом польском графе (недавно переехавшем из Петербурга на житье в Саратов), о том, как он знает все языки, кроме русского; как он недавно, разговаривая с господином, не говорившим по-французски, объяснял ему:

– О, да! То так! Лондòн хоть город большейший, но наискучнейший! Али же Париж, хотя наименьшейший, но бардзо пшиятнейший!.. То так!.. А вот еще шпанский Мàдрит, так там завше, *бык – рогом тык*... Занентно!.. Бардзо!

Мы решили с сестрой, что тетя, верно, ошиблась – что этот полоумный мальчишка, наверно, *сын* графа. Кем же ему и быть?.. Оттого он в папашу по-русски говорить не умеет.

При окончании спектакля этот дурно воспитанный мальчуган нас снова поразил: он не вышел, как все, а промчался, ловко перескакивая из ряда в ряд по пустым местам к выходу мимо пораженной публики, степенно подвигавшейся по узаконенному пути.

В коридорах была толпа. В ожидании экипажа мы были задержаны ею в сенях и вдруг очутились рядом с графом, который тотчас узнал тетю, раскланялся и вступил в разговор. Мы с Лелей смотрели, улыбаясь, на мальчишку и тут не стоявшего ни секунды смирно.

Он заметил наши взгляды и улыбки; сам тоже весело нам улыбнулся и вдруг, расшаркавшись перед нами, бойко отрекомендовался.

– Mesdemoiselles! Puisque papa cause avec madame votre mêre, – permettez-moi de me présenter aussi: contesse Leontine P[otot]sky. Charmée de faire votre connaissance! (Так как папа разговаривает с вашей мамой, то позвольте и мне также представиться вам: графиня Леонтина П[ото]цкая. Очень рада, что познакомилась с вами).

Мы с сестрой от изумления окаменели...

«Графиня Леонтина П[ото]цкая!» Этот бесшабашный сорванец – графиня! девочка?!.

– Oui, mesdemoiselles[144]! – благосклонно обратился к нам граф. – Позвольте мне познакомить с вами *дочь мою*. Если ваша тетушка позволит, я на днях буду иметь честь привезти ее к вам.

Тетя Катя совсем смутилась.

– *Ее?!* Так в самом деле это – девочка? – по-французски вскричала между тем Леля.

– Commet se fait-il… (Как же это случилось), – начала было вопрос тетя Катя, но папаша «милой барышни» не дал ей кончить.

Саратове тайного общества, называя главными членами его трех пожилых помещиков – Н.Н.Аничкова, П.А.Жарского и А.Д.Горбунова, которые известны были губернии не только за самых благонадежных, но и настолько боязливо-осторожных людей, что они избегали даже вести знакомство с теми дворянами, которые носили запрещенные бороды. Кожевников, объяснив в своем ответе шефу жандармов личности этих дворян, добавил в заключение, что донос на указанных лиц есть не что иное, как злая шутка. Донос об этом, как оказалось, принадлежал Потоцкому, который вскоре за тем был вытребован в Петербург, где и разъяснилась эта курьезная история. Дело было так: у графа Потоцкого в числе дворянской молодежи нередко бывал сын бывшего ранее саратовского губернатора Ростислав Фадеев, который после перемещения его отца в Тифлис долго оставался в Саратове. Однажды Фадеев вместе с Потоцким были в немецком клубе, помещавшемся тогда на Никольской улице в скромном деревянном домике Франца Ивановича Штейна, и вот, выслушивая обычные сетования Потоцкого на свое положение, он посоветовал ему доказать свою преданность правительству открытием какого-нибудь заговора, на что Потоцкий с горячностью возразил: “Да где же я его возьму”. Тогда большой шалун Фадеев указал на отдельную соседнюю комнату, где ежедневно собирались поиграть в карты трое упомянутых помещиков, которых он, как все другие, прекрасно знал за людей безукоризненных в политическом отношении, почему шутя и сказал: «Разве вы не замечаете, что эти трое всегда уединяются, таинственно удаляясь в отдельную комнату; наверное, дело тут неладно!» Потоцкий, приняв все за чистую монету, возьми да и напиши на них донос. Обо всем этом было доложено государю, и Николай Павлович, как говорят, хотя и немало смеялся этой выдумкой Фадеева, но все-таки, узнав, что он находился в это время в Петербурге, приказал его выслать из столицы. Граф же Потоцкий был помилован, и ему разрешили вернуться на родину (*Шомпулев В.А.* Провинциальные типы сороковых годов // Русская старина, 1898, №8. С. 330–331).

[144] Да, дамы (*фр.*).

– Comment se fait-il qu'elle soit mise en garson? (Что она переодета мальчиком?), – прервал он. – Вам странно, что я ее одеваю и воспитываю как мальчика?.. Вот видите ли, я так страстно желал иметь сына, наследника моему старому имени, что рождение этой плутовки было мне большим разочарованием. Жена моя, чтобы хоть сколько-нибудь меня утешить, захотела ее в ранние годы одевать мальчиком, надеясь, что Бог еще даст нам сына; но, к несчастию, она сама умерла вскоре... С тех пор я вот все собираюсь переодеть свою девочку, но я так привык в ней видеть сына...

– Eh! C'est que j'en vaut deux, – de garçons, – moi! – с похвальной скромностью перебила его *«графиня»*. – Я, право, стою двух мальчишек!

– Oui, mon amour[145]!.. Мне тяжело расстаться с моей иллюзией! – продолжал отец. – Я так свыкся с нею, что, право, часто сам забываюсь: смотря на Леонтину, я делаю планы о славном для нее будущем...

Я слушала и смотрела на эту сцену, разинув рот, до того была поражена; но Леля, глядя на нашу новую знакомую, без церемоний смеялась.

– Ну? Чего вы заливаетесь? – весело вопрошала ее та. – Что такое? Qu'est-ce-que ça vous fait[146]?

– Скажите на милость, ведь вы уже большая девочка, как же вам не стыдно так кричать и прыгать и вести себя, как никогда не вел бы себя даже благовоспитанный мальчик? – бесцеремонно отвечала ей сестра.

– Là! Puisque ça me plait! Если это мне нравится! – резонно возразила графиня Леонтина.

И действительно, по всем ее манерам было видно, что для нее «закон не писан»; что, кроме своих желаний, она ничего признавать не желает.

Когда мы двинулись к дверям, я оглянулась и слышала, как она скомандовала отцу, схватив его сзади за полы, как за вожжи.

– En avant, p-pa!.. Вперед!.. Marche[147]!

Мы долго опомниться не могли от смеху, вспоминая эту поразительную «барышню»; *contesse-gamin*[148] – прозвали мы ее впоследствии. Граф привозил ее к нам и во многие дома, где были девочки ее лет; но все ее, понятно, сторонились. Дети смеялись над ней; большие жалели бедняжку и укоряли безумство отца, искажавшего безжалостно ее характер и понятия, быть может, на несчастие всей ее последующей жизни.

Я часто вспоминала потом «графиню-сорванца» и хотела бы знать, что с нею сталось? Но мне никогда не привелось о ней ничего слышать.

IX
Великие печали

Приближалась масленица, но снега еще были большие и морозы не предвещали близости весны.

Совершенно не помню, как случилось, что именно я с Антонией ездила в это время довольно далеко за город в деревню близких всей семье нашей друзей – к трем сестрам Честилиным и их матери, славной старушке, которую все любили.

Что заставило нас двух пуститься в путь, не подождав более теплого времени, не могу припомнить; но дело в том, что нас на этих сорока верстах захватила мятель, и мы с ней продрогли порядком.

Как за нами ни ухаживали, как ни отпаивали малиной, но ко мне привязалась лихорадка, которая меня промучила до самой весны. Приехала я домой совсем больная и очень испугала Антонию и тетю: но когда через несколько часов мой бред и жар оказались пароксизмом простой лихорадки, все успокоились.

Ненадолго, однако, – этой весне суждено было принесть нам великое горе.

На первой неделе поста простудился наш маленький Люся, проболел семь недель и на третий

[145] Да, любовь моя (*фр.*).
[146] Что с вами такое (*фр.*).
[147] Марш (*фр.*).
[148] *графиня-ребенок* (*фр.*).

день Пасхи скончался... Что это были за ужасные дни! Каково было отчаяние нашей бедной тети, – да и всех нас, – потому что все обожали этого ангельчика Божия, – что уж и рассказывать!.. На меня это восковое кроткое личико в его светлом гробике произвело неизгладимое впечатление. Я впервые видела вблизи умершего, и, Господи, какая обуяла меня тоска, когда отвезли мы его на старое кладбище, мимо наших дач и рощи, положили в могилку на высоком обрыве над Волгой и оставили там нашего умницу, нашего голубоглазого ненаглядного мальчика.

Много лет спустя Пасхальный трезвон, красные яйца, весь праздничный шум и свет Светлого Христова Воскресения для меня был нераздельно связан с печальным воспоминанием погребальных подробностей.

С этого горестного времени у всех нас только и было в мыслях: скорее, скорее собираться в дорогу! Скорее свидеться с бабушкой, опять зажить неразлучно, одной семьей.

Дядя Юлий Федорович Витте, хотя уже получил назначение в Тифлис, но еще не мог сейчас с нами ехать. Между тем дедушка писал, что он должен в мае месяце быть по делам службы в Баку, а потому сам нас мог там встретить. Это было очень важно в те времена, когда за Кавказом не было хороших дорог, но зато были очень дерзкие разбойники, от которых служащие только бывали ограждены большими конвоями. Дядя решился проводить нас до Астрахани; там дней семь-восемь (теперь не дольше трех!) плавания по Каспийскому морю – и мы в Баку на попечении дедушки.

Сборы начались деятельные, но продолжались более месяца. Не шутка была собрать в путь и за две тысячи верст отправить двумя различными путями целый дом: семью в шесть человек с тремя слугами – снарядить Волгой и морем, а обоз из двадцати душ прислуги с упряжными лошадьми в трех фургонах – отправить сухим путем в Царицын, на Дон, а оттуда чрез Ставрополь, по северному Кавказу, в Владикавказ и в Тифлис.

Все эти заботы целиком легли на бедного дядю Витте, которому главным помощником был наш буфетчик Яков; на ответственность его отдавался весь сухопутный караван.

А ведь тогда еще не было и в помине не только железных дорог, но даже и почтовые-то шоссе были в редкость! А уж в Калмыцких и Донских степях путешествия были малым чем легче и безопаснее, чем теперь в степях Гоби или африканской Сахары.

Итак, распрощались мы в начале мая с нашим милым Саратовом!.. Сколько слез было у нас с Клавой и Верой Гречинскими, с Машенькой Лемеховой, с Катей Полянской, да и со всеми менее близкими девочками, которые вдруг стали так дороги и милы, будто у меня с ними всегда была горячая дружба. Было, разумеется, множество и взрослых людей, глубоко огорченных, как и тетя, и Антония, и все мы, плакавших горько, нас провожая. Но ведь нам, кроме близких, любимых людей, приходилось расставаться и с дорогими, нам милыми местами!..

С какими тяжелыми сердцами распрощались мы со всеми провожавшими нас на пароход – кажется, тот самый, на котором я так веселилась в прошлом году на прогулке. Тут был и дядя Ростя, оставшийся еще в России, и Евгений Иванович – мой старый, милый «паж» со всей семьей своей, и Гречинские, и Лемеховы, и доктор Троицкий, и множество знакомых, и некоторые прежние слуги наши, рыдавшие навзрыд, как бывшая тетина горничная Матрена, которая за год или два перед тем вышла замуж, и кормилица нашего маленького Саши, только что отнятого от груди. Все плакали, все нам махали платками, посылали нам поцелуи и последние приветы; я стояла у борта на корме и, сжимая в руках деревянный ящичек с конфектами, с вышитым на крышке Клавдией букетом цветов, ее последний мне подарок, неутешно заливалась слезами[149]...

Бедную нашу тетю, когда пароход поравнялся с берегом кладбища, увели в каюту; ей сделалось дурно при виде Люсиной могилки... Я представляла себе, что с нею делалось, по тому жгучему горю, которое сжимало мое сердце при мысли, что мы его оставляли навсегда одного зарытым вон на том высоком выступе на обрыве над Волгой... Весна была ранняя, все было покрыто яркой зеленью и полным расцветом сирени и фруктовых деревьев в окрестностях нашей старой, милой дачи...

Пароход шел не скоро. Город, с его так хорошо знакомыми окрестностями, медленно

[149] Если бы кто-либо, знавший Клавдию Абрамовну Гречинскую, в замужестве Шверину, мог мне сообщить адрес ее, если она еще жива, – я была бы весьма благодарна. – *Примечание В.П.Желиховской.*

скрывался из глаз... Вот слились все строения; выделяются только церкви, наш собор с круглым куполом и высокой колокольней. Вот прошли мимо лесистых берегов, за кладбищем; вот и гора Увек, а за нею та песчаная возвышенность, где мы, бывало, рылись, разыскивая окаменелости, рыбьи остовы и зубы – допотопные остатки прежде бывшего тут моря... Вот повернули мы за Увеком за выступ берега и... Саратов скрылся... Видны только верхушки Соколовых гор. Вот и они ушли, закрывшись ближайшими к нам высокими берегами.

Я стояла и плакала рядом с Аннушкой, матерью моего бывшего адъютанта, Дуняши, державшей Сашу на руках, и с Парашей, тетиной горничной, на время дороги приставленной к Леониду, которого еще нельзя было оставить без постоянного присмотра. Они разговаривали между собой, тоже плача, и вдруг я услышала, что, поминая Андрюшу, Аннушка почему-то выражает опасение и за здоровье маленького Александра.

Сердце у меня екнуло, и я вся похолодела от испуга... Господи! Да что ж это они говорят?.. Я смотрела на Сашу. Он казался самим здоровьем, этот черномазенький, черноглазый, румяный, толстый мальчуган, по наружности совершенный контраст белокурого, бледненького покойного брата. Я бросилась обнимать его и целовать, еще пуще заливаясь слезами.

Обе женщины перепугались, начали меня упрашивать, чтоб я тете или Антонии Христиановне не проболталась. Аннушка ни за что не захотела мне сообщить основания своих опасений... Я обещала ничего никому не говорить, только умоляла научить, что же делать? Чем отвратить такое страшное горе?..

Тогда Параша, которая была очень богомольная женщина, мне сообщила, что в отвращение (в *замоление*, как она выразилась) возможных несчастий люди дают обеты: обещаются церковь выстроить, икону пожертвовать или поститься, а не то какое-нибудь доброе дело сделать.

– Но как же я-то могу? – в отчаянии говорила я. – У меня нет денег! Я не могу никаких добрых дел делать и даже постничать не могу: не позволят!

– А вы не сейчас обещайтесь, – вразумили они меня. – Вы так, барышня, положите, что вот, когда Сашеньке минет благополучно столько-то лет, вы вот и сделаете Богу жертву какую-нибудь... Вы тогда уже будете большая: сама себе госпожа.

Я тотчас стала обдумывать, что ж бы мне «обещать Богу», – чтоб только Саша был жив и здоров?..

И вот вскоре я решила: через десять лет я уже, разумеется, буду, как Аннушка говорит, «сама себе барыня»... Через десять лет уже, разумеется, пройдет срок всех страшных детских болезней для Саши, и если он будет тогда здоров, то, Бог даст, и останется жив и здоров на долгие годы...

Значит, самое лучшее дать обещание – *когда Саше будешь десять лет*, поститься целый год: кроме, разумеется, Великого поста, еще все среды и пятницы, – как вот постятся другие, как всегда постилась наша «няня Настя», покойная, незабвенная наша старушка, всеобщая *«бабушка»*.

И я сейчас же дала этот обет.

Пароход наш именно скользил мимо какой-то помещичьей усадьбы, где возвышалась церковь с золоченым крестом. Я, глядя на него, с торжественным чувством на душе, сама перекрестившись большим крестом, тут же обещалась в этом Богу.

Нечего и говорить, что в свое время я свято сдержала свой обет.

X
На море

Плавание вниз по Волге чрезвычайно занимало меня, особенно вначале, пока берега были гористы и красивы. Чем ближе к Царицыну, тем они становятся однообразнее, песчаней и ниже по правой стороне. За богатой Сарептской колонией пригорки почти исчезают; все становится пустынней; зелени, в особенности деревьев, и вовсе нет; пропадает даже трава, и оба берега, все отдаляясь и отдаляясь один от другого на огромное расстояние, совсем теряют свой контраст – нагорного и лугового, превращаясь в сплошные пески и глину. На правой стороне все-таки желтые бугры кое-где прерываются зеленью садов или засеянных полей, кое-где пестрит их деревушка

или бревенчатый городишко[150], левая же сторона совсем превращается в плоскую песчаную пустыню.

Несколько лет тому назад дедушка Фадеев жил в Астрахани, служа по управлению приволжскими поселениями. Ему были подчинены и немецкие колонии, и кочевники – калмыки и киргизы, кочующие по низовьям Волги. Теперь, проезжая мимо всех этих мест, мы много раз имели возможность убедиться в том, как жители его любили и помнили. Вероятно, кто-нибудь из Саратова предупредил бывших его подчиненных о проезде семьи его, потому что всюду, где пароход наш хоть ненадолго останавливался, чтоб набрать дров, забрать груз или захватить новых пассажиров, всюду к нам приезжали и приходили разные люди – с приветствиями, с пожеланиями, с просьбами передать поклоны, когда свидимся с дедушкой, – напомнить ему о них. В Дубовке, славившейся дынями, какой-то господин принес нам, детям, ящик конфект из дынных корок, а в Сарепте колонисты принесли целый короб пряников.

Неподалеку от Астрахани мы почему-то должны были стоять несколько часов на якоре. Пока бабы из ближней деревушки проворно бегали по мосткам, таская с берега на пароход дрова на носилках, нас окружили все местные обыватели, кто с товаром, – более всего со съестными припасами, – а кто с пустыми руками. С левого берега, из калмыцких улусов, явились и их обитатели на своих легких лодчонках, так ловко управляясь с ними, что мы любовались ими, особенно женщинами, калмычками, в их коротеньких кафтанах, со множеством мелких кос, падавших на плечи.

Следующий день был очень ветреный и ненастный. Ветер и дождь к ночи разразились целой бурей; а Волга тут была уж такая широкая, что волны по ней ходили, словно по морю. В темноту капитан идти не решился и снова стал на якорь. Пароход наш «Св. Николай» был неуклюжий, колесный, купеческий, не чета нынешним пароходам – замкам в три этажа, с галереями и вышками и командой, которая ходит как по струнке, ловко исполняя все приказания ученых капитанов и лоцманов.

Им и управлял-то купеческий приказчик в смазных сапогах; и кают пассажирских в нем собственно не было, а какие-то крошечные косые, кривые, низенькие клетушки с ларями вокруг одной большой, сравнительно, общей каюты. Эту-то каюту, с позволения «капитана», мы всю и заняли своей семьей, кроме двух-трех каморок по бокам ее; да и то всем спать места не было, так что я умостилась проводить ночи *на столе*. Да!.. На большом обеденном столе, среди каюты, я проспала все пять дней нашего пути до Астрахани.

Так вот, когда Волга-матушка бурными волнами ночью-то крепко разыгралась, – я, грешная, разоспалась, да и скатилась под стол, подброшенная качавшимся пароходом. Скатилась да такого крику наделала, что всех перебудила, напугала, и уж, наверное, на следующую ночь, – если б нам еще предстояла ночевка, – меня уложили бы не на стол, а под стол для общей безопасности. Этого не случилось лишь потому, что на следующий день «Св. Николай» благополучно доставил нас в приморский город Астрахань, где мы прожили дня два у старых знакомых тети Кати. Здесь у нее было много друзей. Нас нарасхват приглашали, угощали, катали по городу и Волге, пока на третий день мы не пересели на «Тегеран», военный пароход, который должен был через неделю доставить нас в Баку.

Хоть этот морской пароход был гораздо больше и благоустроеннее волжского купеческого суденышка, но и плавание нам предстояло не по глади речной, а по морю – по бурливому и гульливому дедушке-Каспию. Вот тут-то узнали мы, что за штука такая морская болезнь!.. Ой-ой-ой! какую трепку задало нам это, воистину, *средиземное* море, которое географы не хотят и признавать-то морем, а разжаловали в *озеро*.

Первые два-три дня нельзя было выйти на палубу из страха не только упасть, но прямо свалиться за борт – так нас качало и бросало. Еще мы, дети, и Леля не так сильно страдали, но все взрослые, особенно Антония и бедная тетя, уж и без того совсем расстроенная и несчастная из-за разлуки с дядей Юлием Федоровичем (который в Астрахани с нами распрощался и поехал назад в Саратов), ужасно измучились.

[150] Это было более 40 лет тому назад; но я опять, всего в [18]90 году, была в низовьях Волги и большой перемены не нашла. – *Примечание В.П.Желиховской.*

Но зато, когда судьба над нами сжалилась, стих ветер и море улеглось, – как стало хорошо!.. Помню, я с вечера, убаюкиваемая качкой, словно в люльке, крепко заснула и проснулась очень рано. Проснувшись, я медлила открыть глаза, думая: вот встану – и закачает!.. Я лежала тихо, прислушивалась, *причувствовалась*, – если можно так выразиться, – и вдруг радостно поднялась…

Что это?.. Уж не снится ли мне?.. Ни стуку, ни скрипу, ни верчения, ни качки... Ничего, кроме легкого, прямолинейного потряхивания с аккомпанементом мерного шума колес.

Вот прелесть-то!

Я вмиг оделась, умылась, набросила шляпу на голову и радостно, быстро вскарабкалась по крутой лестнице наверх, на палубу. Там еще никого не было; но что за краса, за блеск, что за ширь сияющая представилась моим глазам! Вода и небо. Горизонт сливался с морем, а солнце, всходившее прямо из волн, ярким золотом рябило всю морскую гладь. Воздух был свеж и так прозрачен, что разноцветные блестки, рассеянные пурпурным востоком по темной зелени морской глади, танцовали по всей его необъятной дали, вспыхивая и зажигаясь на самых дальних окраинах. Море казалось какой-то сплошной золотисто-голубовато-зеленой скатертью, усеянной передвижными драгоценностями. Дальше берега тянулись неровной лентою только на западе, вправо от нас. То были Кавказские горы, темно-серые снизу, а по верхам кое-где отороченные белоснежными вершинами, сиявшими тоже, как море, и золотом и яхонтом в это чудное раннее утро.

Я села у борта, закутавшись в большой тетин теплый платок, потому что было очень холодно, а моя шляпка, несмотря на безветрие, слетала с головы, – и залюбовалась морем. Но вдруг я ахнула, удивленная и даже перепуганная донельзя: мне показалось, что из моря вынырнул человек, скорее ребенок, с гладкой белой головкой и большими глазами... Вынырнул – и пропал, окунувшись назад в воду.

– Что это?.. – вскричала я, кинувшись к первому проходившему мимо матросу. – Посмотрите! Посмотрите, кто это выпрыгивает из моря?.. Вот! Вот и еще, и еще! Что это такое?

– А это, барышня, тюлени, – отвечал тот, улыбаясь моему испугу. – Их тут до пропасти... Особливо на заре, когда солнышко всходит, они вот так-то и пляшут с радости... Ишь их сколько!

Тюлени!.. Так вот они – живые тюлени, родные братцы моего знакомца в бабушкином кабинете!.. А я их и не признала было!.. Зато теперь я глядела во все глаза и насмотреться не могла на эти смешные, белые, гладкие, как атлас, головы с круглыми, глупыми мордами, длинными белыми усами, которыми они пошевеливали, обводя море, и солнце, и пароход равнодушными, черными, как стеклярусные бусы, глазами. Я побежала вниз будить сестру и брата, рассказывать им о великолепном утре, о забавных тюленях, звать их скорей на палубу, но не добудилась. Они не привыкли подыматься с зарею, как я, а потому и не видали этого оригинального зрелища во всем его великолепии. Позже, когда Леля и Леонид и все взрослые, тоже очень обрадованные переменой погоды, вышли на палубу, тюленья пляска уже прекращалась, и разве один или два запоздалых любителя солнца и воздуха показывали им изредка свои прилизанные головы.

На всем пути мы раза три, четыре, не более, приближались к берегам северо-восточного Кавказа. Первый раз – едва выйдя из устья Волги, на Бирючьей Косе, возле большого становища киргизов или калмыков, – не помню, – знаю только, что на берегу было множество кибиток и что утлые лодчонки их владельцев окружили нас и засыпали пароход разной рыбой, между которой было несколько осетров в сажень длиною и больше и много стерлядей в полтора и два аршина[151]. Никогда еще нам не приходилось видеть таких рыбьих великанов!.. Леонид, как его ни уверяли, что эти рыбищи называются иначе, объявил, что это «настояние киты», и ни за что не хотел верить, что самый громадный осетр в сравнении с китом все равно, что котенок перед быком.

Потом мы стояли несколько часов в Петровске; сходили даже на берег и ездили в крепость и город. А еще дальше, два дня спустя, останавливались в Дербенте, где тоже катались по гористым кривым улочкам, осматривали крепость, старый дворец дербентских ханов и «домик Петра Великого», то есть просто землянку, в которой он жил несколько дней в августе 1722 года в ожидании сдачи крепости. Эта землянка на берегу моря теперь ограждена крышей, на кирпичном фундаменте и столбах, с надписью о том, что здесь пребывал первый русский царь, когда-либо

[151] 1,4 м.

проникавший за Кавказские горы[152].

Здесь к нам на пароход село много военных, возвращавшихся из Дагестанских гор, из экспедиции. Тогда более удобного пути с Кавказа в Россию, как через Астрахань, а в Грузию и Тифлис через Баку, не было; военные пароходы именно с этой целью и ходили постоянно вдоль западных берегов Каспия, от устья Волги до персидской границы, а пароходов пассажирских тогда еще не было. Потому-то мы и шли так долго, что везде приходилось стоять ради военных дел.

Наконец, 21 мая, на седьмой день нашего плавания от Астрахани, обогнув Апшеронский мыс, мы завидели на светло-голубом небе силуэты выжженных солнцем гор, а ближе к морю оригинальные здания, какие-то стены, круглые и четырехугольные башни, какие-то купола неведомых нам построек первого на пути вполне азиатского города.

То было давно желанное Баку, место, где после долгой разлуки мы должны были встретиться с дедушкой. Он еще в начале апреля выехал из Тифлиса с бабушкой и тетей Надей, которых оставил дожидаться нас в Шемахе, а сам объехал в это время все государственные земли, немецкие колонии и деревни русских переселенцев, молокан и духоборцев[153], рыбные казенные промыслы в устьях Куры до самой Ленкорани, последнего города на границе Персии по берегу Каспийского моря, который принадлежит России. Тут он тоже сел на пароход и морем приехал в Баку, где жил уж несколько дней в ожидании нас.

Говорить о радости нашего свидания я не буду: она понятна и без моих рассказов. Лучше скажу несколько слов о Баку, достопримечательности которого я узнала, бывая там гораздо позже, уже взрослой; а в тот раз, поспешая в Шемаху, мы ничего не успели осмотреть, выехав в тот же день далее.

XI
Путешествие до Тифлиса

Кто теперь приплывает или приезжает по железной дороге из Тифлиса в Баку, тот не может и понятия иметь о том, каков этот город был сорок, пятьдесят лет тому назад. Теперь это благоустроенный, почти европейский город с прекрасной набережной, собором и городским садом; а главное, с замечательно богатыми нефтяными заводами поблизости его, которые совершенно уничтожили прежние достопримечательности этого места. Я говорю о храмах огнепоклонников, выходцев из Персии и даже Индии, искони славивших своего бога – огонь в окрестностях деревушек Сураханы и Балаханы и вообще возле Баку, этого города вечного пламени. Дело в том, что там огромное богатство подземных резервуаров нефти, а близ Сурахан через трещины земли непрерывно выделяется газ, который быстро воспламеняется сам и производит вечный пожар в течение нескольких столетий. В местах самых сильных огненных струй огнепоклонники соорудили храм для поклоненья богу огня.

Теперь там построены громадные каменные здания, где выделывают керосин, бензин и другие нефтяные продукты; прежние колодцы, откуда, бывало, нефть била свободными фонтанами, достигавшими до десяти саженей[154] в высоту и разливавшимися целыми реками и озерами, ныне плотно прикрыты железными привинченными крепко клапанами. Крышки же открываются только по мере нужды, когда надо переливать драгоценную жидкость в бочки и чаны для ее очистки и выделки. К ним подходят рельсовые пути для соединения с ними заводов, порта и станции железной дороги. Тогда об этом никому и не снилось!

Зато капище огнепоклонников, не закрытое, как теперь, кирпичными стенами громадных заводских зданий, а лишь обнесенное белыми, массивными стенами с закругленными зубцами, сияло во всем великолепии своих вечных костров и огней. Так как зубцы эти и углы стен постоянно вымазывались нефтью, то сами они воспламенялись легко от малейшего приближения спички и ярко пламенели, никогда не сгорая. Зрелище было особенно эффектно ночью; словно

---

[152] Этот поход Петра I мною описан в рассказе *«Царь и казак»* – издание журнала «Досуг и дело». – *Примечание В.П.Желиховской.*

[153] Секты иноверцев, переселенные за Кавказ из южной России и берегов Волги. – *Примечание В.П.Желиховской.*

[154] 21 м.

сказочный дворец саламандр, этот храм светился издалека среди окружавших его озер и луж янтарной нефти, золотившихся в черных, пропитанных дегтем берегах.

С внутренней стороны вечно сиявшей белоснежной ограды к ней были прилеплены такие же глиняные белые келейки, где жили аскеты-огнепоклонники; а посреди возвышался на столбах высокий павильон с конусообразной крышей, тоже, как все постройки, из кирпича, густо покрытого белой глиной, с торчавшим над ней железным трезубцем над привешенными внутри колоколами. Из-под четырех углов этой крыши и в средине храма, из углубления, сделанного в каменном полу, вылетали огненные вихри вечно горевшего газа, питаемые испарениями нескольких нефтяных ям. При входе в двухэтажные ворота (над которыми были «странноприемные комнаты» для приходивших лечиться больных) с обеих сторон их и сверху тоже устроены были трубы, из которых вылетало пламя... Словом, здесь все горело не сгорая. Многие бедняки издалека приплетались в это языческое капище и жили по неделям, лечась водой минерального колодца, находившегося тут же, рядом с «огненным колодцем». Этот *огненный* колодец представлял удивительное явление и зрелище. Теперь этот храм в разрушении; но в [18]50-х годах, когда я его видела, это было настоящее жерло вулкана, только на совершенной плоскости и обнесенное толстой глиняной стенкой. В глубине этого колодца все пылало, переливалось и бурлило, словно раскаленная, кипучая лава на дне кратера перед извержением... Но извержений из *огненного колодца* не бывало. Зато все, что в него попадало, обращалось в пепел мгновенно, и он служил могилой умиравшим в капище огнепоклонникам. Удивительно красивое зрелище представляло это раскаленное жерло, вечно менявшее цвета, вечно извергавшее из разных подземных трещин, глубоко уходивших в разные стороны, клубы искр и разноцветных огней; но долго смотреть на него нельзя было: его горячие испарения дурманили, и нам рассказывали, что были случаи, когда люди туда сваливались, потеряв равновесие. Огнепоклонники были уверены, что их *«священный»* колодец имеет притягательную силу для избранных и что всякий, попадавший в него живым, становился святым, немедленно принятый на лоно их божества[155].

Но самое замечательное явление в Балаханах того времени было присутствие и богослужение этих самых темнокожих, полуголых огнепоклонников, теперь совсем исчезнувших. Их заменили нынче какие-то бродяги, пьяницы, которых на случай проезда важных или хорошо платящих путешественников сбирают по всем окрестным духанам и сгоняют, чтобы они изображали огнепоклонников и кривлялись, как умеют. Но полвека тому назад там жили настоящие жрецы бога огня, настоящие выходцы с Дальнего Востока. Между ними бывали подобия индусов-факиров. Они так же, как эти индийские фанатики, доходили до экстаза и стояли до изнеможения сил неподвижно на одной ноге или в другой тому подобной невозможной позе по обетам, исполнением которых они надеялись достигнуть спасения. Мы присутствовали и при богослужении их, во время которого жрец трубил в какую-то раковину и курил очень пахучей смолой, доставляемой, как он уверял, из Индии.

Со всем этим я познакомилась позже. В первое мое пребывание в Баку мы успели только побывать на высокой башне, о которой ходило предание, что с нее в море бросилась прекрасная царевна, приказавшая и выстроить ее нарочно для этого странного прыжка; да обошли полгорода *по крышам* – из квартиры уездного начальника, где дедушка останавливался[156]. Крыши тогда почти во всех городах Закавказья были плоские, земляные, террасами соединявшиеся между собою на целые кварталы. С высоты их можно было не только в уездных городах, но даже в самой столице Грузии Тифлисе обозревать многие улицы, площади и караван-сараи – восточные гостиные дворы.

На другой день мы уже катили в двух экипажах в Шемаху, охраняемые многочисленным конвоем чапаров – всадников-татар – под предводительством их беков (дворян) и разных земских и полицейских властей, которые отсюда провожали и везде встречали дедушку, предупрежденные об этом приказанием высшего начальства. Таким образом, мы могли ехать безопасно по этому пути, очень в то время опасному, не столько по набегам и нападениям горцев-врагов, сколько по

[155] Подробное описание Баку и огнепоклонников в моем рассказе: *«У вечных огней»*. – *Примечание В.П.Желиховской.*

[156] Тогда Баку был уездный, а не губернский город. – *Примечание В.П.Желиховской.*

грабежам разбойничьего местного населения.

Первые станции были скучные, дорога шла по выжженным, голым, без всякой растительности степям. Нас развлекало только множество птиц: вереницы белоснежных лебедей, пестрых гагар и всяких уток, гусей и громадных, ширококрылых баб с розовыми мешками под клювами, из которых часто торчали бедные рыбки, изловленные этими пернатыми хищниками в соленых озерцах, то и дело блиставших по пути. Но более всего нас занимали наши конвойные, проделывавшие удивительные штуки на своих конях, да рассказы дедушки о новых людях и местах, куда нас занесла судьба.

Я ехала с тетей и дедушкой в его коляске, а дети с Антонией в большом тарантасе, да еще была перекладная с чемоданами. Все мы дивились ловкости наших провожатых. Чего не делали эти чапары? На всем скаку перестреливались; обгоняя друг друга, то вскакивали на седла, то опрокидывались, лежа, на спины коней, будто убитые; съезжали им под брюхо до самой земли и вдруг молодецки вскакивали и неслись в сторону без дороги, в погоню за воображаемым неприятелем… Один впереди бросал папаху (шапку) оземь, – другой на всем скаку подымал ее с земли и ловко бросал ему вдогонку. Чудо, какие ловкие, красивые и бесстрашные были эти наездники!

Нам с непривычки их проделки казались просто чудесами удали и ловкости... А дедушка смеялся, уверяя, что все они самые отъявленные разбойники, которые очень были бы рады нас и ограбить и зарезать, если б только это возможно было сделать безопасно для них самих...

– Здесь одно средство спокойно путешествовать – просить себе в конвой самых отъявленных предводителей разбойничьих шаек! – говорил он. – Все эти конвойные – люди, подвластные местным помещикам, татарским бекам и ханам; а те все поголовно грабители и разбойники самые настоящие. А потому, когда начальство поручает их охране путешественников и они сами отвечают за их безопасность, то никто из сотоварищей их уж не посмеет тронуть, боясь быть выданным ими и повешенным. Вот эти господа нас провожают и забавляют; а не будь они на счету у начальства и не будь мы поручены лично им, – они из безобидных вольтижеров охотно превратились бы в воров и убийц.

Мы очень дивились, и, по правде сказать, я уж не могла так любоваться скачкой и ловкостью наших провожатых: после дедушкиных слов – винтовки, которыми они шутя перестреливались, и богатые пистолеты и кинжалы, украшавшие пояса их ярких, бархатных и красных суконных чох с откидными рукавами, расшитыми золотым галуном, нам уж внушали не совсем приятные чувства...

Дедушка рассказывал очень много интересных вещей о своем недавнем путешествии; особенно мне запомнились его занимательные истории о барсах и тиграх в Ленкорани, куда они во множестве забегают из Персии. На них там бывали интересные охоты, а во многих домах держали маленьких тигрят; но только их воспитание почти всегда кончалось печально. Еще хорошо, если их успевали вовремя пристреливать, прежде чем они сами не натворили бед, а то бывали страшные несчастия с людьми и детьми во многих домах из-за ручных подраставших зверей. Так, один тигр сорвал голову восьмилетнему сыну городничего в Ленкорани; а потом другой, уж не знаю, «ручной» или дикий, забрел в баню к одному бедному молокану, когда тот там мылся. Хорошо, жена со двора увидала этого страшного гостя и, схватив топор, опрометью бросилась на выручку мужа... И как раз вовремя: зверь уж накинулся на голого, безоружного мужика и подмял его под себя; но в эту минуту удар храброй молоканки топором по голове повалил тигра самого мертвым. Молокан выбрался из-под него *только* помятым, благодаря мужеству своей жены, которая спасла его от лютой смерти и к общему удовольствию получила медаль «За спасение погибающих». А то еще один тигр повадился встречать солдата, который каждый день ходил на мельницу версты за три от Ленкорани. На той мельнице пекли хороший крупитчатый хлеб для больных в госпитале; вот и повадился этот не больной, но лакомый выходец из персидских лесов получать свою лазаретную порцию... Уж солдатик так и знал – заранее запасался выкупом, и только покажется из-за кустов его нахлебник он бросал ему свежий хлебец и спокойно шел своей дорогой, пока тигр закусывал. Так дело шло целый год, пока начальство, узнав об убыли лазаретной порции, решило, что так нельзя: сделали в лесу облаву и убили бедного тигра, охотника до свежего хлебца.

На другой день мы приехали в Шемаху. То-то была всеобщая радость и счастье!.. Сколько расспросов, рассказов; за интересами воспоминаний вначале отступили на второй план новые окружавшие нас интересы; но потом меня очень заняли прогулки по гористому, полуазиатскому городу, похожему на русскую деревню, потому что в верхней части его, по горе, большое поселение молокан придавало этому губернскому городу вид совсем деревенский[157]. Особенно в это весеннее цветущее время года окрестные горы, как разноцветными коврами, сплошь покрытые красным маком, желтыми и лиловыми гиацинтами, ирисами и барвинками, придавали необыкновенную красу высокой, волнистой местности, на которой расположена Шемаха. Мы прожили тут почти месяц: так надо было дедушке по его служебным делам, а бабушка и тетя не хотели с ним расставаться, хотя многие пугали нас землетрясениями, а больше всего все сильнее разыгрывавшейся холерной эпидемией.

Холера, положительно, шла всю дорогу вслед за нами. Она после отъезда нашего так страшно начала свирепствовать в Саратове, что бедная тетя измучилась боязнью за мужа; потом, едва мы приехали в Астрахань, она показалась и там; приплыли в Баку – ее там не было; но в тот же день заболело несколько человек; а приехали в Шемаху – и с нами вместе появилась и эта страшная гостья. Смертность увеличивалась с каждым днем; но наши старшие не боялись холеры, а мы, дети, тем более о ней не думали, отлично проводя время. В нижнем этаже дома, в котором мы квартировали, жили Дмитревские, старые знакомые родных моих, которые никак не ожидали здесь встретиться с друзьями, а потому и те и другие были очень довольны.

Несколько раз нам пришлось бывать в гостях у богатых татар, беков и ханов Шемахинских, и тут я впервые увидала, как они живут. Мне разумеется, очень нравилась пестрая, нарядная обстановка их парадных покоев: раскрашенные стены и потолки, все в лепных украшениях, испещренные зеркальными звездами, золотыми арабесками; разноцветные узоры окон и галерей из мелких пестрых стекол; богатые ковры, бархатные узорчатые диваны, подушки, шитые золотом, резные столики и табуреты с инкрустациями. Потом мощеные цветными изразцами галереи, дворики с мраморными бассейнами, с журчащими по стеклянным колокольчикам фонтанами – вся эта лицевая сторона жизни богатых татар очень красива, бесспорно; но что за ужасы, какая грязь в их внутренних комнатах и в житье вообще – мы это скоро узнали. Один богатый молодой татарин Махмуд-Бек, служивший в военной службе и корчивший европейца и образованного человека, был нашим проводником, показывал нам город, мечети, лавки, окрестные сады и виноградники, переполненные чудными розами, громадными белыми и желтыми лилиями и чудесными сочными черешнями всех цветов, которые лично меня прельщали больше всего; хотя из-за этой отвратительной холеры нам и не позволяли рвать ягоды всласть, но мы умудрялись все же, между сбором цветов, ими поугощаться, и никто, слава Богу, не заболел.

В половине июня мы двинулись в путь. Тут впервые пришлось нам восхищаться великолепным видом с высокого шемахинского перевала на долину реки Ах-Су и на течение Куры, окаймленной далекими цепями гор. Никогда я еще не видывала такого великолепия и не могла налюбоваться этой картиной. Мы переночевали в богатой деревне Ах-Су, которая тонет в виноградниках, а на другой день переправились через Куру на пароме в Мингичауре, где эта река течет так тихо и плавно, что нельзя и подозревать, какая она быстрая выше, в Тифлисе и за Тифлисом, на границе Турции, откуда вытекает.

В Елисаветполе пробыли почти целый день. Это был тоже (тогда) совсем азиатский город, но только на совершенно плоской скучной местности, оживляемой одними виноградниками и чинарами, деревьями-великанами, подобных которым мы никогда не видывали. Вся базарная площадь ими усажена и спасает пестрый люд продавцов и покупателей от палящего солнца. А уж пестрота населения здесь замечательная! Конечно, больше всего татар-оборванцев с зверскими лицами, исподлобья смотрящими бегающими глазами, с нахлобученными на них, несмотря на зной, рыжими и черными бараньими папахами; персиян в их остроконечных шапках из черной мерлушки и молодцеватых, сходных с ними по внешности татар, – горцев восточного Кавказа здесь было меньше. Зато толпу пестрили синие куртки и смешные плоские с огромными

[157] Частые землетрясения, постоянно разрушавшие город, заставили Шемахинскую губернию обратить впоследствии в Бакинскую, и таким образом эти города поменялись ролями. – *Примечание В.П.Желиховской.*

козырьками картузы немцев-колонистов. В самом Елисаветполе и в окрестностях его много колоний, заселенных швабами, строго держащимися своих обычаев и костюмов. Их одежду переняли наши русские сектанты, духоборцы, с виду совсем колонисты. Их тоже здесь множество, как и молокан; но последние как были русские мужики, так и остались, только гораздо более предприимчивы, работящи и аккуратны. Они больше всего занимаются извозом[158] и хлебопашеством, тогда как у колонистов главная промышленность – садоводство, виноград и виноделие.

Множество солдат и казаков (в то время еще одетых, по старому образцу донцов, в бескозырные фуражки набекрень и с ружьями, саблями и длинными пиками за спиной) разнообразили местное население. Целые отряды военных то и дело встречались нам и по дороге: ведь в то время сотни тысяч войск всех оружий были сосредоточены на Кавказе. Чем ближе к Тифлису, тем сильнее проявлялся военный и вообще русский элемент.

Мы ходили в мечеть, смотрели высокий, пестрый, выложенный цветными изразцами *минарет* – башню в виде столба, которая заменяет магометанским храмам колокольню, потому что утром, вечером и в полдень муэззин[159] (магометанский церковнослужитель) громким голосом сзывает с вершины его «правоверных» на молитву. *Правоверными* называют себя все мусульмане. Видели мы тут впервые и, главное, *слышали*, как в *медресе* (школе) занимаются татарчата. Это не комната и не дом, а открытые с лицевой стороны, выходящей во двор мечети, галерейки или маленькие комнатки на высоте аршина над землей, окаймляющие стену мечетного двора, в средине которого непременно каменные бассейны с водой для троекратных омовений, обязательных всем последователям Магомета. В этих галерейках, поджавши ноги, сидят на циновках мальчишки, бритые, полуголые, и громко зубрят уроки, повторяя их вслед за учителем, важного вида *муллою* (священником), добросовестно стараясь только перекричать друг друга. От этого из медресе исходит такой крик, что, войдя во двор мечети, надо уши затыкать, чтоб не оглохнуть.

На базарной площади, несмотря на раннее время года, грудами лежали на земле ранние фрукты; но по случаю холеры мало кто покупал их. Вообще их там такое изобилие, что ими откармливают птицу и свиней, особенно чудным, всех сортов виноградом.

И теперь еще, а в то время особенно, Елисаветполь был с виду не город и не деревня, а бесконечный фруктовый сад с виноградниками, деревьями-великанами всех пород, с грецкими орешниками и чинарами в пять и шесть человеческих обхватов, с фиговыми, миндальными и гранатовыми деревьями без конца, с едва выглядывавшими из-за зелени плоскокрышными постройками, во время нашего проезда тонувшими в цветах: в столистенных розах, в пахучих оранжевых и белых лилиях, в кустах жасмина, словно посыпанных снегом, и в ярко-красных цветах гранат.

Я совсем терялась в этом волшебном богатстве моих любимцев – цветов! Я была подавлена великолепием южной растительности!.. А уж виды! Горы, возвышающиеся то и дело в три, четыре и пять ярусов: зеленые холмы, потом лесистые вершины, наконец скалы, величественные, бесплодные утесы, и часто над всем этим белоснежные цепи или отдельные шапки и пики ледников Лезгинской или позже Кавказской цепи. Разнообразие и богатство впечатлений меня совершенно подавляли в первое время нашего переселения «в Азию басурманскую», как называла Кавказ наша Аннушка, Сашина нянька.

Кроме общего впечатления невиданной, сказочной природы и новизны обстановки, людей и нравов, было множество отдельных картинок, которые навсегда запечатлелись в воспоминаниях нераздельно с жутким, порою подавляющим чувством опасности, не покидавшим нас во все время пути. Всюду, на всех станциях, только и говору было о несчастных случаях с путешественниками: там ограбили почту; тут убили конвойных и ямщика, а полумертвых пассажиров оставили, обобрав их и уведя лошадей, на дороге; здесь – только что застрелили из-за кустов полковника, ехавшего на службу, а семью его увели в горы, в плен. Или вот на днях вырезали целый обоз; а не

[158] Быт наших кавказских сектантов мною описан подробно в рассказе: *«Из тьмы к свету»*. А жизнь и обычаи татар и горцев в двух повестях для юношества: *«Князь Илико, маленький кавказский пленник»* и *«В татарском захолустье»*. *– Примечание В.П.Желиховской.*

[159] муэдзин (*араб.*).

то – люди бесследно пропали с поля, из виноградников; грабители угнали стадо, связав, а то и заколов пастуха. Одним словом – ужасы один ужаснее другого. А главное, что выдумок – никаких! Все было так в действительности и даже хуже того, потому что в то страшное время войны и повсеместных разбоев сотни несчастных случаев проходили незамеченными и даже никем не узнанными.

Понятно, что хотя нас всюду сопровождал большой конвой из казаков и из *самих разбойников* (потому что дедушка не шутил, а говорил нам сущую правду), все же частенько становилось ой-ой как жутко! Особливо, если по непредвиденным трудностям пути приходилось запоздать до захода солнца... В те годы по заходу и до восхода солнечного со станции никого не выпускали.

Помню, что я крепко струхнула в последний раз за Елисаветполем при переезде через реку Храм.

В этом месте через реку построен старинный мост арками[160], в которых целые комнаты внутри массивных столбов. Нам по пути все уши прожужжали рассказами о грабежах и несчастиях на этом самом *Красном* мосту; говорили, что разбойники прятались в этих арках и нападали на путешественников, когда те въезжали на середину моста: деваться было некуда, когда грабители преграждали впереди и сзади путь... Несчастных убивали, грабили, перебрасывали через перила в Храм; одним словом, творили всякие ужасы. А мы, как нарочно, подъезжали к Красному мосту на вечерней заре, когда солнце уже садилось, и хотя дедушка и успокаивал нас, что князь Воронцов (тогдашний наместник) приказал заложить входы в арки и что с обеих сторон моста стоят казачьи пикеты, но я видела все же, что бабочка беспокоится, и ее боязнь переходила немножко и на всех. Когда мы приближались к мосту, по нем[у] как раз проходил караван. Татары, сидевшие на высоких верблюдах, медленной вереницей проходивших перед нами, четко рисуясь черными силуэтами на фоне пылавшего неба, мне казались очень подозрительными личностями!.. Даже когда казаки и чапары их разогнали, чтоб дать место нашим экипажам проехать через мост, я долго подозрительно оглядывалась, высовываясь из экипажа... Я не соображала еще тогда, что разбойники не разъезжают караванами на верблюдах, а напуганная слухами о их подвигах, начинала в каждом встречном татарине видеть врага и злоумышленника. Впоследствии это чувство прошло, и я даже стала очень храбро относиться ко всем случайностям и опасностям тогдашней жизни за Кавказом, – как это будет видно из дальнейших моих рассказов.

С каким радостным чувством облегчения и любопытства я подъезжала к Тифлису, рассказать трудно, – но понять немудрено. Вот он, желанный, рисуется вдали, рассеянный по скалам над Курою, вдоль которой весело катят наши экипажи. Вот над ним громоздится высокая гора шатром; гора, которую бабушка указывает мне, называя ее *Мта-Цминдой* – «Святой горою», говоря, что на ней жил Св. Давид[161], один из христианских просветителей Грузии; что там церковь и его пещера с чудотворным источником, что вид оттуда великолепный и что мы с ней туда на днях же пойдем отслужить молебен Святителю...

Кура здесь быстрая, сжатая скалами. Кругом виноградники, сады; постройки маленькие, все больше сакли с земляными крышами одна над другой; только вправо высокая, огромная скала стоит отвесно над рекою и на ней церковь и большое каменное строение: «Крепость *Метехский замок* и тюрьма», – рассказывает бабушка...

– Сейчас въедем в самый город, – говорит она, – в старый азиатский город. Вот спустимся с Авлабарской горы, там уже будет Армянский базар, лавки; потом Сионский собор, очень древний, замечательный собор! А за ним уже выедем на Эриванскую площадь, в новый русский город. Там и дворец наместника и тот сад, о котором я писала тебе, где на воле ходят джейраны – дикие козы,

---

[160] Красный мост, говорят, построен Александром Македонским. Впрочем, в Закавказье все старинные мосты непременно относят к его постройке, а все развалины замков и башен приписывают времени царицы Тамары. – *Примечание В.П.Желиховской.*

Александр Македонский (356–323 до н.э.) – царь Македонии, создатель мировой державы.

Тамара (1166–1213) – царица Грузии, с именем которой связан один из лучших периодов в истории Грузии – «золотой век грузинской истории».

[161] Давид Гареджийский (?–604) – восточно-христианский монах, пришедший из Антиохии в Иверию с проповедью христианства.

которых ты будешь сама кормить хлебом: они едят из рук что им дают...

И под милые мне с раннего детства рассказы моей доброй, дорогой «бабочки» я въезжаю в большой, живописный город – в Тифлис.

XII
Тифлис

– Как вы себя чувствуете, сударыня Вера Петровна? – шутя, приветствовал меня на другой же день дедушка за нашим ранним кофе на широкой галерее, перед которой зеленели виноградники, возвышались стройные «пирамидальные» тополи, а за ними высочайшей стеной вздымалась бесплодная Салолакская гора. – Что скажете о новом нашем азиатском месте жительства?.. Оно вас, никак, удивляет и очень занимает, а?..

Бабушка ответила за меня:

– Еще бы! У нее просто закружилась голова от новизны впечатлений...

– Как не закружиться!.. Погоди, вот побываем вон там, – дедушка махнул рукой на вершины гор, – пойдем прогуляться в Ботанический сад, по ту сторону Салолак, подымемся оттуда на вершину и возвратимся домой по этой стороне пешком. Видишь, вон, дорога вьется с хребта скал, от тех развалин башен, в нашу улицу?.. Вот когда оттуда посмотришь вниз на город или в ту сторону, на сад и армянское кладбище, – так поневоле голова закружится. Такой высоты ты никогда не видала.

– Как! А на горном перевале, когда из Шемахи ехали? – сказала я.

– Ну, да, там высоко, но горы постепенно понижаются, а тут в обе стороны обрывы почти отвесные. Салолакский хребет – что стена. Оттого он по эту сторону, к городу, на север, совсем бесплодный; а по южной стороне покрыт богатейшей растительностью. Там очень красивый Ботанический сад, террасами... Есть на что полюбоваться.

Я, действительно, в первые дни приезда только рот открывала на все диковинки, меня окружавшие.

В это утро я еще не успела опомниться от вчерашнего переезда, в особенности по самому городу. Когда оставили мы за собой Куру, сады, Метехский замок и таможню, спустились в шумные, грязные кварталы старого города и затряслись по ужаснейшей мостовой мимо азиатских бань[162] по узеньким улицам и переулкам Татарского Майдана[163] и Армянского базара, – я думала, что мы попали в ад кромешный или, вернее, в какое-то пекло и толчею, населенные сумасшедшими.

О таком движении, толпе и разнообразных криках никто из нас не мог иметь и представления.

Грузины, армяне, татары, персияне, солдаты, европейцы, дети, женщины, закутанные в белые простыни (*чадры*); экипажи, арбы, фургоны, верблюды, ишаки (ослы), лошаки, собаки, бараны; неистовые крики продавцов и погонщиков, скрип немазаных колес, бубенцы верблюдов; блеяние, ржание, рев, лай и ко всему визг и барабанный бой зурначей, местных музыкантов, процессиями прогуливавшихся по улицам, – все это нас оглушило, ошеломило, совершенно сбило с панталыку.

Вообще Тифлис и занял нас и понравился. Новые улицы были широкие, прямые, застроены красивыми зданиями. За Курой растянулась цветущая немецкая колония; садов было очень много, и все они заросли чудными розами, жасмином и всякими цветущими кустами. А та часть города, под Салолакскими горами, где мы поселились вначале, вся тонула в виноградниках. Теперь в Тифлисе нет и десятой доли прежней зелени, ни сотой доли той азиатской оригинальности, которую мы застали в конце сороковых годов!

Армянский базар, впрочем, мало изменился. Он и теперь, как тогда, разделяется на

---

[162] Тифлисские бани не отапливаются. Они снабжаются натурально горячими минеральными источниками разнообразных свойств и температур. – *Примечание В.П.Желиховской.*

[163] Майдан по-татарски *рынок*. Это самая шумная и грязная площадь старого Тифлиса, где останавливаются все караваны. Там же и так называемые *Темные ряды*, крытые караван-сараи, где ведется большая и разнообразная оптовая торговля всевозможными азиатскими товарами. – *Примечание В.П.Желиховской.*

несколько отделений, где продают и вместе фабрикуют товар. Вот оружейный ряд: здесь во всю длину улицы вы не увидите ничего, кроме кинжалов, шашек, пистолетов, патронов и ружей. Смуглые азиатские мастера в бараньих папахах на бритых головах сидят, поджавши ноги, на циновках в передней части своих открытых лавчонок-мастерских и прилежно обтачивают костяные рукояти или наводят чернь на серебряные ножны. Далее – шапочный ряд: куда ни глянь – пестрые горские папахи, обшитые позументом, красные, черные, белые, отороченные шелковистыми ангорскими бараньими мехами, или островерхие армянские и татарские шапки из сплошных мерлушек всех цветов. За ними – цирюльни: взмыленные головы и лица, над которыми возятся брадобреи в белых фартуках с засученными рукавами. Потом ряд кулинарный, по-московски – обжорный. Тут сплошь варят и жарят: кипят котлы с рисом, дымится на углях сочный шашлык, возвышаются груды плоских чуреков, тончайших лавашей и пр[очих] азиатских хлебов, и тут же потребители и закусывают, поджав ноги, рядом с поварами… Там, ближе к *Темному ряду*, соединяющему Майдан с Армянским базаром, крытому пассажу, где продается всякая всячина, – ряды одежды: черкесок, архалуков, башлыков, а потом всевозможной азиатской разноцветной обуви: сапоги с закрученными вверх длинными носками, кочи – на высоких каблуках, без задков, поршни – местные кожаные лапти, и красные, желтые, всех цветов мягкие черевики из сафьяна. Женская пестрая обувь часто расшита золотом и серебром очень изящно по сафьяну и бархату. Все это тут же и шьют, и вышивают, и сколачивают. Производство, и продажа, и торг, и брань, и смех, и похвальба товара – все это идет вместе и сливается в вечный шум.

Но никто не кричит так резко, не выхваляет своего товара такими дикими вскриками, руладами и хриплыми гортанными воплями, как торговцы фруктами, зеленью и сладостями. Первыми все базары, все лавки и площади завалены круглый год.

В средине всепроизводящего, узкого, грязного, шумливого Армянского базара высится вековой Сионский православный собор. Сам он, как и многие церкви в Тифлисе, стоит гораздо ниже уровня улицы, к нему надо спуститься по каменной, довольно высокой лестнице; но высокая его колокольня возвышается не при нем, а через улицу, по другую ее сторону, в ряду лавок, которые ее со всех сторон облепили.

В то время не только в старом городе, но и в европейских кварталах большинство крыш были плоские с земляными террасами, по которым можно было гулять и смотреть в чужие дворы и на улицы. С крыши и галерей нашей первой квартиры были видны все окрестные сады и здания, тонувшие тогда в виноградниках.

Теперь, когда все мы съехались, дедушкина квартира оказалась слишком тесной. Несмотря на палящий июньский жар, до отъезда из города надо было приискать другую квартиру, о чем все усердно хлопотали. Она нашлась в совершенно другой дальней стороне города, по-тогдашнему почти что за городом, против кладбища «на Вере» – так называется та часть Тифлиса от протекающей в ближайшем ущелье речонки. Это был только что оконченный великолепный и громадный дом, построенный, словно крепость, за высокими стенами двора со всевозможными службами, в середине которого был распланирован садик, еще не дававший тени, но полный цветов. Богатый купец армянин Сумбатов, его хозяин, отстроил его, ничего не жалея, во вкусе полуазиатском, с лепными украшениями, цветными стеклами, с круглым балконом и хорами в огромной овальной зале.

С каждым днем раскаленный, душный и пыльный Тифлис пустел. Летом все, даже правительственные учреждения, школы, гимназии и большинство служащих оставляют его, переселяясь на два-три месяца в горы, на воды, в ближайшие штаб-квартиры полков, откуда все военные уходили тогда в экспедиции[164].

Мы в тот первый год переселились на воды в Боржом.

[164] Военные действия против кавказских горцев, окончившиеся в начале [18]60-х годов взятием в плен Шамиля. – *Примечание В.П.Желиховской.*

Шамиль (1797–1871) – предводитель кавказских горцев.

Глава XIII
Первое лето в Закавказье

Местечко Боржом, имение Великого Князя Михаила Николаевича[165], в настоящее время представляет из себя великолепно устроенный курорт с чудными парками, множеством красивых дач; с дворцом, который живописно возвышается на левой стороне Куры, противуположной ущелью, соединенному с ней каменным мостом; с гостиницами, зданием минеральных ванн, галереей вод с танцовальной залой, библиотекой и пр. приспособлениями для лечащихся и веселящихся приезжих на курсы. Тогда это было дикое, заросшее непроходимыми лесами ущелье, окруженное громадами гор и скал, по которому бешено стремилась в Куру Боржомка, а по ней гнездились два-три бревенчатых, кое-как сбитых домика, да в глубине стояла деревянная покосившаяся галерейка для немногих пользовавшихся водами, преимущественно военных, раненых или больных офицеров и солдат. Для последних была небольшая казарма ближе к Куре; а в самой глубине неразработанного ущелья, поперек его, возле ванн, стоял единственный, довольно поместительный, тоже казенный дом, который мы и заняли.

Господи! Что это было за величие и краса – эти горы! Это дикое ущелье, полное шума воды и аромата цветов и ягод; эти леса, заросшие сплошь жасмином, шиповником, всевозможными цветами и всевозможными плодовыми деревьями, начиная от громадных грецких орешников и кончая ярко-красными кустами барбариса, кизиля, малины и всяких ягод. Все это просто приводило меня в какое-то восторженное исступление!.. Я была сама не своя, будто этот чудный воздух, пропитанный свежими, здоровыми испарениями разнообразной растительности, опьянял меня. Да и не я одна – все любовались и наслаждались великолепием и красой окружавшей нас природы. Бабушка, моя милая ласковая, любящая, чистая сердцем, богатая умом и знаниями «бабочка», радовалась на все не меньше своей двенадцатилетней внучки, ее всегдашней спутницы в прогулках и ботанических изысканиях. И ей, изучавшей флоры Крыма и всего южного Поволжья[166], собравшей богатые коллекции засушенных и нарисованных ею с натуры растений, часто приходилось дивиться величине и несравненной красе кавказских цветов. Какие чудесные прогулки делали мы с ней в то лето по скалам и цветущим закоулкам Боржомки!.. Какие букеты, целые вороха пестрых, благоуханных, крупных, словно оранжерейных цветов я наносила ей и потом вместе с ней отбирала: которые – для букетов просто, которые – в гербариум[167] сушить; а некоторые – в модели для рисунков. И как искусно она их изображала!.. И здесь, как в Саратове на даче, она все свободное от хозяйских и семейных дел время проводила за рабочим столом, окруженная книгами, тетрадями и букетами цветов. Но только здешние букеты нельзя было сравнивать с поволжской флорой. Где было скромным ландышам и незабудкам соперничать с снопами громадных лилий, рододендронов, азалий и множеством неведомых мне цветов всех видов и оттенков, с которыми, бывало, мы с нею возвращались с наших прогулок!.. Но недолго мы пробыли в Боржоме: бабушке надо было серьезно лечиться.

Доктора приказали ей купаться в минеральных, очень горячих водах Абас-Тумани, верстах в

---

[165] Великий князь Михаил Николаевич (1832–1909) – сын императора Николая I, военачальник и государственный деятель.

[166] Этих рисунков саратовской, астраханской, крымской и кавказской флор набралось несколько десятков томов. Тетка моя, Н.А.Фадеева, теперь пожертвовала всю эту замечательную коллекцию в библиотеку С.-Петербургского университета. Этими рисунками ее тогда в Тифлисе часто любовались натуралисты и ученые академики, как Бер, А.Н.Бекетов и др., навещавшие бабушку Фадееву и считавшие ее замечательной женщиной. Известные ученые, француз Гоммер-де-Гель и англичанин Мурчисон, познакомившись с ней в Саратове, с глубоким уважением отозвались о знаниях ее в своих сочинениях. – *Примечание В.П.Желиховской.*

Бэр Карл Максимович (1792–1876) – естествоиспытатель, путешественник, один из основоположников эмбриологии и сравнительной анатомии.

Бекетов Андрей Николаевич (1825–1902) – ботаник, педагог, организатор и популяризатор науки, общественный деятель.

Оммер де Гелль Ксавье (Hommaire de Hell, 1812–1848) – французский инженер, геолог и путешественник, в 1835 г. проводил геологические изыскания на юге России.

Мурчисон Родерик Импи (1792–1871) – шотландский геолог, президент Лондонского геологического и географического общества, в 1840–1841 гг. провел геологические исследования в России.

[167] гербарий (*лат.*).

70-ти оттуда за Ахалцыхом на турецкой границе. И вот дедушка с половиной семьи остались там, а мы с «бабочкой», тетей Катей и Лелей отправились в новое, чудное по положению место, но еще менее устроенное, чем Боржом, – на Абас-Туманские воды.

Новая дорога, новые красоты, новые восторги!

Дорога сначала шла берегом той же Куры; но здесь, ближе к ее истокам, она совсем не была похожа на мутную Куру в ее глинистых, пустынных берегах. Здесь она была светлая, быстрая, веселая, вся в пене и каскадах; а протекает она среди такой прекрасной местности, среди таких цветущих долин, таких величественных гор, усеянных развалинами, храмов башен и целых древних крепостей, что я не знала, куда поворачивать голову, боясь пропустить что-нибудь особенно замечательное.

Мы никак не могли после наших русских равнин и степей свыкнуться с окружавшими нас вереницами гор, вздымавшимися одна над другою бесконечно разнообразными цепями.

В Ахалцыхе мы остановились отдохнуть, и целый день гуляли по этому гористому, совершенно турецкому городку, расположенному в ущелье и увенчанному живописной крепостью на скале. Я думала, что он весь населен турками – все мужчины здесь были в чалмах и фесках, а женщины прятались и кутались в свои покрывала, то пестрые, то из толстой бело-желтой кисеи, очень густой, иногда отороченной позументом; но оказалось, что между жителями очень много православных грузин, еще больше армян, и все они только с виду отуречились.

Бабушка и тетя накупили разных вещей – местной очень тонкой филигранной работы серебряных браслетов, запонок, брошек; страусовых яиц и кокосовых орехов с резьбою; разных пестрых крошечных чашечек на серебряных подставках, из которых турки пьют свой крепкий черный кофе; разрисованных длинных чернильниц, которых мы и из Шемахи и из Елисаветполя уже привезли несколько, и множество крошечных флаконочиков с розовым маслом, таким пахучим, что довольно одной капли, чтоб на несколько дней надушить целую комнату. Накупили также целый ворох разных мелких и крупных четок, янтарных, костяных, коралловых, а более всего черных гишеровых[168], от самых крупных, резных, до самых дорогих, мелких как бисер. Без четок на Кавказе и за Кавказом не обойдется ни один человек. Татары, армяне, в особенности женщины, постоянно перебирают их. Армянки и грузинки носят их часто по самые локти наверченными на руках; а у богатых туземок только и занятие, что перебирать четки и жевать *кэву* – белую смолу, чавкая ею и щелкая на весь дом.

Только что мы поселились в Абас-Туманском ущелье, еще более узком и диком, чем Боржомское, как над нами стряслись большие беды.

Мы с бабушкой по-прежнему гербаризировали по скалам и лесам, но не ходили так много и далеко, как прежде, потому что она очень ослабевала от горячих ежедневных купаний. Серные минеральные воды в Абас-Тумани так горячи, что мало кто может выносить их высокую температуру. Особенно же горяч был один источник, про который ходит множество рассказов, и, между прочим, что в нем раз до смерти *сварился один армянский архиерей*... Больным больше велят купаться в менее горячем источнике, почему-то называемым *змеиным*.

Раз, после завтрака, бабушка по обыкновению вышла гулять, и вдруг у нее закружилась голова, и она, не успев ни сесть, ни схватиться за что-нибудь, упала, свалившись с довольно крутой тропинки, да так несчастливо, что сломала себе левую руку выше локтя.

Видя, как страшно страдает она, мы все ужасно перепугались. Тетя сейчас послала в Ахалцых за доктором (в Абас-Тумани в то время доктора не было, а один простой фельдшер для солдат); но он не разобрал сразу, в чем дело, уверял, что это только вывих, и еще больше повредил ей и ее измучил, и только потом догадался, что рука не вывихнута, а сломана, перевязал перелом и положил всю руку в лубки... Боль утихла, но бедная тетя никак не могла успокоиться, тем более что мать ни за что не позволяла ей написать в Боржом, чтобы не беспокоить «понапрасну» дедушку.

Наконец, к нам приехал дедушка и с ним брат нашего дяди, Александр Федорович Витте[169], капитан путей сообщения, служивший в Кутаисе и женатый на тамошней имеретинке.

---

[168] Гишер – каменный уголь. Его очень трудно отделывать по хрупкости его, а потому чем мельче бусы четок, тем они дороже ценятся. – *Примечание В.П.Желиховской.*

[169] Витте Александр Федорович (1812–?).

Только что «бабочке» стало лучше, заболел наш бедный «папа большой», – я все еще продолжала так называть его по детской привычке, – так серьезно заболел он, что слег в постель; а когда доктора приказали ему брать горячие местные ванны, то, хотя они были совсем близко, бедного дедушку носили туда на носилках.

Ох, какое это было для всех нас тяжелое, страшное время!.. Слава Богу, что *змеиные* ванны на самом деле скоро помогли дедушке. Как поправился он и бабушкину руку вынули из лубков, все мы повеселели.

По пословице, что и горе и радости ходят попарно, тут скоро приехал и дядя Юлий Федорович, слава Богу, избегнувший благополучно ужаснейшей холеры, которая опустошила весь Саратов и многих добрых наших знакомых унесла. Ужасно мы были рады его приезду.

В конце августа мы все вместе двинулись назад в Тифлис.

XIV
Первая зима в Грузии

В Тифлисе меня ожидало радостное свидание со всеми нашими людьми: с моими адъютантами, со всей дворней нашей, наконец дотащившейся на долгих из Саратова. Это была истинная радость и развлечение всем великое!.. Вся семья, с бабушкой во главе, интересовалась путешествием нашего «обоза», полным треволнений и многих действительных опасностей.

Между этими слугами не было ни единого человека, который родился бы вне нашего дома; большинство молодых были все крестники бабушки или тети или товарищи их и наши по воспоминаниям детства. Как же было нам о них не заботиться, не соболезновать их горестям и не радоваться их радостям, когда большинство их делило печали и радости наши, как свои собственные!..

Баба Капка, Мавра, жена дворецкого Якова, и старшие горничные наперерыв рассказывали бабушке и тете про свои впечатления, страхи и беды во время трехмесячного скитания по степям и горам: Яков, Петр, третий повар Михайло, кучер Иван и пр. сдавали отчеты дяде; а младшее поколение – Саня, Дуняша, Даша и меньшая ее сестра Люба – разумеется, неустанно болтали с нами, Лелей и мной, находя в нас сочувствующих и заинтересованных слушательниц. Леонид в это время в сообществе подростков и мальчиков, Николки, Володи и прочих, то и дело бегал на конюшни осматривать давно невиданных им упряжных лошадей: Арабчика, Тонкого и Толстого, состоянием которых он более всего интересовался.

Меня очень занимало устройство нашей великолепной квартиры в доме Сумбатова, где, кроме нас, в одном конце его жил только один хозяин, с семьей которого мы скоро познакомились. У них было три дочери, из которых старшая была лет на пять моложе меня, и сын Цуца, – т.е. Степан, – как раз одних лет с Лидой. Играя в саду и в огромном дворе, они сейчас подружились, хотя маленький Сумбатов очень плохо говорил по-русски, а Леонид то и дело подымал его на смех за это и в особенности за его имя, которое действительно было бы скорей приличной кличкой маленькой собачке, чем хорошенькому мальчику.

Я с Антонией, Леонидом и маленьким Сашей поместилась в мезонине, наверху, и вскоре я опять серьезно углубилась в свои уроки с Антонией, а еще чаще совсем одинокие, только под руководством ее, потому что она снова начала болеть, все сильнее и сильнее.

Много я горя натерпелась за нее в этих больших низких комнатах с широкими окнами, начинавшимися почти прямо от пола.

Вообще в моей памяти зима на сорок восьмой год оставила воспоминание невеселое, темно-серенькое; черные дни на нем выделяются в памяти моей чаще, чем светлые, – из-за болезни Антонии, часто страдавшей очень сильно.

Но вообще жизнь шла интересная для всей семьи, а для Лели даже очень веселая, так как она выезжала на балы и вечера. Знакомых с первых же дней у родных моих оказалось здесь множество; даже старых друзей, как, например, князь Владимир Сергеевич Голицын[170],

[170] Голицын Владимир Сергеевич (1794–1861) – тайный советник, генерал-майор, участник Наполеоновских войн и Кавказских походов, меломан и музыкант.

двоюродный брат по матери княгини Е.К.Воронцовой[171], жены тогдашнего наместника. Он был такой большой, толстый и веселый, такой остроумный и так любил петь разные смехотворные куплеты, что очень мне напомнил Закревского. Но когда я сказала об этом, Надя с Лелей начали смеяться надо мною, говоря, что Закревский так похож на Голицына, как толстый бульдог на льва.

У него было два сына, но у нас чаще бывал старший – Александр[172], очень красивый. Бывали также часто сыновья Алексея Петровича Ермолова[173], известного кавказского главнокомандующего. Особенно часто бывал Виктор Алексеевич[174], который раз меня очень рассердил, потому что я, как все подростки, очень не любила, чтоб со мной обращались как с маленькой.

Сидя возле него за обедом, я спросила, глядя на золотые буквы на его эполетах *«К»* и *«Г»*, что они означают? Он вместо того, чтоб сказать правду, что это значит «Кавказской гренадерской» дивизии, пошутил, ответив:

– А это значит: *«каков гусь!»* – и рассмеялся.

Но мне это вовсе не показалось смешным, и я очень серьезно спросила:

– Так кто ж тут *гусь*?

– Гусь? – повторил он. – Да я!

– Вы?.. – протянула я тоном соболезнования. – Как жаль... А я думала, вы – человек!

Все, кто слышал, засмеялись, а Ермолов притворился очень сконфуженным, закрыл глаза руками и все повторял:

– Ай-ай-ай! Какая злая барышня! Как сконфузила меня, бедного!

Кто-то сказал:

– Она у нас сердитая! Не позволяет с собою шутить. Вы бы ей лучше сказали правду, что эти *к* и *г* значат: «какой голубчик»!..

– Таких слов можно подобрать очень много! – заметила я. – Но я не всем бы поверила... Да и не особенно желаю разрешать эту загадку, так что уж лучше не трудитесь выдумывать.

– Какая грозная! – вскричала Леля.

– Вот, вот! – весело подхватил Ермолов. – Это самое у меня и на эполетах вышито: «как грозен!» Право! Право!

Он нагнулся в другую сторону к сестре и прибавил:

– Спасибо, что вы не придумали других слов, – более обидных!

Впоследствии мы стали друзьями с В.А.Ермоловым, и я ему созналась, что мне самой тогда стоило больших усилий сдержать свою досаду и не высказать, что на его эполетах было написано не «каков гусь», а – *«какой глупый»*.

Так как это было совсем не правда, то он и не обиделся, а, напротив, очень смеялся над моей детской обидчивостью.

Я за обедом только и видела наших гостей, которых, как всегда, бывало очень много в гостеприимном доме родных к большому удовольствию Лели, очень любившей общество, в противоположность Наде, совсем не любившей его и в особенности не терпевшей выездов на вечера и балы. По вечерам я почти никогда не сходила в гостиную; разве на четверть часа спускалась чаю напиться, а то все мы с Антоничкой моей сидели наверху особняком, занимаясь, читая иногда, тихонечко беседуя, когда здоровье ей позволяло. Она и с Лидой теперь каждый день занималась и по-прежнему всех нас обшивала, ни минуты не оставаясь без дела.

Хоть и некогда мне было скучать, но я часто тосковала по своим подругам, оставленным навсегда в Саратове.

Здесь, положительно, не находилось мне ровесниц между знакомыми, да так и не нашлось! Впоследствии я познакомилась со многими девушками, но приятельниц по сердцу в Тифлисе смолоду не имела. Иногда такое одиночество мне было очень тяжело, особенно в большие праздники! Помню, что день нового года был мне очень скучен, да и все зимние праздники. Накануне нового года я присутствовала при бальном туалете Лели. Это был ее первый большой

---

[171] Воронцова Елизавета Ксаверьевна (1792–1880) – жена М.С.Воронцова.

[172] Голицын Александр Владимирович (1825–1864) – полковник.

[173] Ермолов Алексей Петрович (1777–1861) – военачальник, государственный деятель и дипломат.

[174] Ермолов Виктор Алексеевич (1820–1892) – военный деятель, генерал-лейтенант.

настоящий бал. Она мне показалась, – да и в самом деле была, – чудо какой хорошенькой!.. Все, даже дедушка, уехали встречать новый год к наместнику; а мы с Антонией встретили его у бабушки в комнате, и хотя пили сладкий ликер и угощались разными лакомствами, но я невольно вспоминала свои всегдашние многолюдные празднества в Саратове и не выдержала – всплакнула, поминая Клаву и многих других своих приятельниц, над блюдами грузинских и армянских гузинаки[175], присланных по туземному обычаю нам нашей хозяйкой и несколькими местными новыми знакомыми. В последующие годы, когда я подросла, я отвыкла немного от привычек детства, а приобрела новые интересы и знакомых.

Когда мы перешли из этого великолепного дома на уединенной окраине в центр русского города, меня очень занимали зимние праздники в Тифлисе. Он в эти дни преображается и становится еще шумнее, еще оживленнее. Все улицы, и без того (особенно в старом городе) состоящие часто из сплошных открытых лавок, занимаются столами, покрытыми русскими, местными, турецкими и персидскими сладостями, сушеными и свежими фруктами, всевозможными орехами и целыми кадками меду. Каждая лавка и лавчонка считает своим долгом устроить еще étalage[176], выступающий на мостовую; а каждый лавочник, стоя среди гирлянд подвешенных сверху груш, айвы, красных гранат и цепей разноцветного винограда, быстро распоряжался среди громадных круглых деревянных чашек, ящиков и банок, полных лакомствами, вешая со стуком и звоном весов и считая еще своей непременной обязанностью как можно громче стучать, кричать и заливаться дикими руладами, выхваляя свой товар, привлекая внимание покупателей хриплыми выкриками.

– *Пах! Пах! Пах!* – кричат они, перебивая и заглушая один другого этим возгласом, означающим высшую степень хвалы. – Пах-пах-пах! Сюды! Сюды!.. У меня фрукта. Гулаб! Инжир! Алыча! Комши[177]! Всякая фрукта сушеный, вареный, свежий, сладкий как миод!

А другой, стоя возле или напротив, еще громче орет во всю ширь своей глотки:

– Пах! Пах! Пах!.. Миод, миод, миод (мед)! Белий! Чистий! Сладкий!.. Гузинок!.. Персидский камфет!.. Барина! Сюды! Сюды!..

Вечером вся эта продажа освещается стеклянными фонарями, часто разноцветными, а очень часто и самым первобытным способом: сальными свечками, обернутыми в бумажки и воткнутыми прямо в верхушки сладостей, горами переполняющих чашки, которые заменяют русские лотки.

Между тем, визгливый стон зурны и мерный бой в барабаны так и стоят над городом. По улицам и площадям мерно двигаются толпы импровизированных музыкантов, во все легкие, до красноты лица, надувающие свои меха[178] и переполняющие воздух писком, визгом, скрежетом и стонами своих удивительных инструментов на десять верст вокруг.

А за ними бегут, прыгают, кривляются ряженые, преимущественно мальчишки, в пестрых лоскутках, в размалеванных бумажных масках и островерхих шапках, обмотанных пестрыми четками и золотой бумагой.

В январе и феврале в Тифлисе обыкновенно прекрасная погода. Теперь климат изменился там до того, что иногда Кура замерзает. А в первой половине прошлого века там не знали, что такое лед или снег. С конца декабря на смену поблекшей старой зелени уже являлись первоцветы; на Крещение, бывало, мальчишки по улицам бегали, продавая букетики малиновых и бледно-розовых крокусов, белых и лиловых фиалок; а без зонтиков невозможно было ходить на крещенский парад. В феврале же все фруктовые сады уже покрывались расцветом будущих черешен, миндаля и абрикосов. Потому зимние праздники для нас во всем, даже в своей весенней погоде, имели удивительный, непривычный интерес в первые годы пребывания в Тифлисе.

Но в том году я, как нарочно, не могла развлечься даже этим забавным зрелищем. Хотя погода стояла теплая, но грязь была невылазная, особенно от нас до начала городских мостовых – добрую версту надо было идти по колено в грязи; да тогда и город-то новый не весь был мощен. А

---

[175] У всех грузин и армян в обычае накануне нового года меняться сладостями, в особенности, *гузинаками*, т.е. миндалем и орехами, варенными в меду. – *Примечание В.П.Желиховской.*

[176] прилавок (*фр.*).

[177] Груши, винные ягоды, сливы, айвы. – *Примечание В.П.Желиховской.*

[178] Зурной называется мех, в который зурнач-музыкант дует, производя резкие, протяжные, очень неприятные звуки. – *Примечание В.П.Желиховской.*

ехать не в чем тоже было: свои экипажи все были нужны дедушке и дяде в такие дни – и коляска и дрожки были заняты; извозчиков же тогда еще там не водилось.

Так и просидела я свои первые праздники в Тифлисе одиноко и очень скучно.

XV
Завал и взрыв

Наступила Пасха, вся в зелени и полном расцвете. Сады были покрыты словно коврами ярко-розового и белого пуха. В полдень жар стоял такой, какого мы в России и в июне никогда не видывали.

В первых числах мая тетя с мужем, Надей и Лелей уехали в Пятигорск на воды и чуть все не погибли в страшном каменно-снежном завале, который *на их глазах* сорвался с вершины Майорши и прервал сообщение между станциями Кайшауром и Коби. В то время военно-грузинская дорога не была так хорошо устроена и оберегаема, как теперь. Во многих местах и при хорошей погоде переезды по узким косогорам между стенами вершин, уходящих в облака, и ничем не огороженными пропастями были очень трудны и опасны; ранним же летом снега на кавказских великанах начинают таять, сползают, тяжестью своей все увлекая, заваливая пути и погребая под собою встречных путешественников. В то время перевал через горы был гибелью сотен людей.

По самой счастливой случайности дядя Юлий Федорович, жалея измученных лошадей, едва втащивших экипажи на Кайшаурские высоты, приказал отдохнуть несколько минут возле духана[179]. Пока вынесли ямщикам по стакану водки, прошло, быть может, минуть десять, – и они-то и оказались спасительными: не пережди они их, весь поезд как раз попал бы под массу снега и все скатились бы навеки в пропасть...

До чего мы перепугались и как все плакали, когда прочли письма тети, Нади и Лели!.. Мы с бабочкой и обнимались, и крестились, и сами смеялись над собою; чего же плакать-то было, когда, слава Богу, все это благополучно миновало?.. Надо было только Бога благодарить!.. Мы это и сделали: на другой же день отслужили молебен у Св. Давида, в церкви на Мта-Цминде.

Я рано утром ходила туда с Варварой (бабой Капкой) и Верой Давыдовной, бабушкиной горничной, и после службы мы с ней долго любовались великолепным видом на Тифлис и его дальние окрестности, тонувшие в весенних уборах. Их обрамляли на севере бесконечные горы с ярко-белой шапкой Казбека; направо, к югу, Кура, уходившая блиставшими зигзагами в ослепительную даль, а прямо – лесистый гребень Марткоби, откуда монастырь Св. Антония смотрит[ся], словно птичье гнездышко, еле приметным пятнышком.

Мы сели на краю обрыва возле решетки пещеры, где похоронен А.С.Грибоедов, убитый в Персии, творец вековечного *«Горе от ума»*[180]. Перед этим я только что видела его красавицу, вдову Нину Александровну Грибоедову, урожденную княжну Чавчавадзе[181]. Она приехала к бабушке и тете с визитом и всех нас поразила не только красотой, но и прелестью своего обращения... Тогда бабушка мне рассказала кровавую драму в Тегеране, одной из жертв которой был Грибоедов. Разумеется, я теперь еще с большим интересом, чем прежде, смотрела на его могилу.

Дедушки тогда с нами не было; он в одно время с тетей выехал из Тифлиса, только в противоположную сторону – в Эриван, Нуху и Шушу, на юго-восточные окраины Закавказья. А нам с бабочкой нужно было весь май и начало июня купаться в серных горячих источниках; а так как два раза в день ездить в такую даль на другой конец города бабушке было слишком утомительно, да и можно было простудиться, – то она решилась нанять возле бань, по дороге к таможне, две комнатки с садом и кухней и туда со мною переселиться.

В огромной квартире нашей на Вере остались только Леонид и Саша с Антонией и всей почти прислугой. Мне очень жаль было оставлять одну Антоничку, но делать было нечего. Ей, правда, было тогда лучше, и она сама меня уговаривала, представляя необходимость этого и для моего здоровья, а главное – для здоровья и спокойствия бабушки, которой слишком скучно было

[179] Трактир или кабачок. – *Примечание В.П.Желиховской.*

[180] Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829) – дипломат, поэт, драматург.

[181] Чавчавадзе Нина Александровна (1812–1857) – жена А.С.Грибоедова.

бы жить совсем одной. Я, разумеется, тотчас прониклась «высотой своей миссии» и начала фантазировать... Я придумывала разные опасности и удивительные происшествия, где бы моя милая бабочка могла бы быть в опасности, а я бы явилась на помощь. Я по-прежнему была отчаянная фантазерка; но вся изощренность моей фантазии не могла мне внушить того, что в действительности вскоре произошло.

Мы прекрасно устроились в своих маленьких комнатках в сакле, сплошь покрытой тенью орешника и тутового дерева, под густою листвой которого я часто проводила время на плоской земляной крыше нашей сакли, смотря на улицу или читая интересную книгу. Мне было разрешено чтение некоторых романов Дюма[182], и часто, сидя на крыше или в крошечном винограднике среди роз и плюща, всползавшего на стены домика и на ствол громадного орехового дерева, сквозь листву которого никогда не могли проникнуть ни солнце, ни дождь, я совершенно забывала действительность, уносясь вслед за судьбою героев французского романиста.

Рано утром подымались мы с бабушкой; она пила кофе, я чай или молоко, и шли мы гулять за таможню, в окрестные сады. Салолакские горы вздымались прямо перед нами, через улицу, увенчанные стенами и массивными башнями. В самой большой из них, хорошо сохранившейся, хранился порох, несколько сот пудов; а потому перед ней постоянно ходил часовой, словно маятник, двигаясь по гребню утеса. Я часто видела его, когда мы с прогулки шли в ванны. Оттуда возвращались мы к полудню, завтракали и ложились отдыхать; но ни я, ни бабушка днем никогда не спали, а только вели разговоры или читали. Потом мы принимались с нею за занятия: она садилась за свой рабочий стол, за вечные рисунки; я делала кое-какие уроки, намеченные заранее Антонией. После обеда приходил черед моим любимым чтениям; я уходила в садик или подымалась на кровлю. Часов в семь опять купались, пили чай и в десять часов уже ложились спать. Нечего и говорить, что блюда и вазы с чудными разноцветными черешнями, с абрикосами, свежим миндалем и винными ягодами никогда у нас не переводились, точно так же как и букеты роскошнейших цветов. Я до того была избалована богатством цветов, что не терпела никогда вчерашних букетов, а лепестками столиственных роз постоянно посыпала балкон и все комнаты. Особенно одуряющего запаха от этого не было, так как окна были всегда открыты.

Раз мы только что позавтракали и, отдохнув от прогулки и ванны, взялись за дело. Бабушка срисовывала великолепную темно-малиновую розу, а я присела к окну по случаю воскресного дня за чтение о подвигах каких-то волшебно-удалых героев «Alexandre Dumas père'a»[183], а не за уроки. Я было хотела пойти в сад, но едва открыла стеклянную дверь, как ворвавшийся вихрь поднял облаком только что рассыпанные мною лепестки роз...

– О, нет, Верочка! Запри!.. – остановила меня бабушка. – Разве не видишь, гроза собирается, да, кажется, еще с бурей?.. Уж с раннего утра солнце так страшно пекло, что, я уверена, не обойтись сегодня без грозы!

– Ну, что ж! Я люблю грозу... После нее прохладней будет, – сказала я.

Я села у окна. В нашем миниатюрном домике и окошечки были маленькие; а на небе темнело быстро; черные тучи клубились и застилали солнце.

В Грузии грозы необыкновенно сильны, внезапны и скоропреходящи. В одно мгновение налетят тучи, грянет гром и потоки дождя польются, словно из лейки, то и дело вспыхивая огненным блеском молний. Не успеешь опомниться – ручьи вырастают в речки, речки превращаются в потоки и всюду вода хлещет, прорывается, взрывает землю, выворачивает камни и, все сокрушая по дороге, стремится, не зная преград.

Так и теперь, казалось, будет; но хотя удары грома раздались скоро и гроза, очевидно, все приближалась, судя по молниям, вспыхивавшим почти одновременно с громом, – дождь что-то медлил...

– Уж хоть бы дождь скорей пошел! – заметила бабочка. – Сухая гроза страшнее и опаснее...

– Ну, бабочка! Какая ж опасность? – успела я только промолвить, как вдруг раздался такой гром и треск, какого потом во всю жизнь мне слышать не доводилось.

Окно вместе с рамой сорвалось и упало мне на голову; дверь в сад разлетелась в дребезги;

[182] Дюма Александр (1802–1870) – французский писатель, драматург и журналист.
[183] «Александра Дюма-отца» (*фр.*).

меня откинуло к другой стене со столом вместе и повалило на пол. Но я вскочила в тот же миг и устремилась к бабушке с одной мыслью: что с ней?.. Я страшно за нее испугалась и бросилась защищать ее от толпы каких-то людей, ворвавшихся к нам в комнату, вместе с градом камней и облаком пыли. Удушливый запах пороху и серы захватывал дыхание.

Я ничего не понимала! Что это? Разбойники? Пожар? Молния, что ли, упала на наш дом?..

Нет! Молния не на наш дом упала, а хуже: она упала на пороховую башню на Салолакской горе. Можно вообразить, каковы были последствия ее взрыва!.. Страшный удар грома, взрыв нескольких сот пудов пороху, разрушение башни, оторванной части скалы, падение камней с огромной высоты, разбитые стены, окна, двери во всем околотке и кроме того отчаянные крики, вопли, визг и стоны убитых, раненых, перепуганных людей, бросавшихся во дворы и дома, ища лишь крова и спасения...

Хозяева наши, прислуга, некоторые пораненные, все помертвелые, вне себя от испуга, сбежались к нам. Несколько человек были сброшены с высоты мостовой через стену к нам во двор все в крови; один тут же и умер. Все голосили, рыдали, над всем этим смятением грохотала гроза, и наконец-то полился желанный ливень.

Бабушка прежде всех опомнилась. Нисколько не потерявшись, она всем начала помогать, перевязывать раненых, всех успокаивать.

Очень много людей было в этот день убито каменьями; возле бань, говорили, найдено было человек двадцать мертвых, а раненых были сотни, даже в дальних частях города. Еще бы, когда пудовые камни с Салолакской горы были переброшены за версту по другую сторону Куры!

Но странное дело! За версты люди были ранены и убиты, а часовой под самой стеной башни, пораженной молнией, оказался жив и невредим. Его только немножко оглушило; он даже и не подозревал, каких бед наделала взорванная на глазах его пороховая башня.

Счастливо обошелся и для нас с бабочкой этот памятный всему Тифлису страшный взрыв. Меня еще немножко поранила упавшая мне на голову рама. Мне кажется, что стекло, разбитое на моей голове, меня не порезало, а просто выскочило... Я помню, что рама наделась мне на шею, как ошейник, и страшно меня это поразило, потому что мешало мне подойти к бабочке; я постаралась освободиться от этой рамы и, вероятно, срывая ее, сама себя порезала.

XVI
Новые летние треволнения

В половине июня мы переехали на все лето в колонию Елизабетталь в тридцати верстах от Тифлиса. Она живописно расположена на крутом скате горы, окружена живописными ущельями и горами, но возле нее нет густых лесов. Зато масса диких плодовых деревьев; посевы и виноградники пересекаются частыми оврагами, переполненными алычой и черной малиной, которую здесь называют ежевикой, хотя ее громадные, саженые кусты и пахучие черные гроздья ее сладких ягод, частых и крупных, как виноград, нисколько не напоминают нашу русскую синеватую, приземистую и кислую ежевику.

Я очень любила собирать ее и раз из-за нее чуть не попалась на зубок медведю. Медведей в тех местах множество, как и гиен, и когда виноград и фрукты в колонистских садах поспевают, они смело спускаются к самой колонии. Редкий день их колонисты не встречают и не гонят ружьями, а не то и вилами. Вот я раз и наткнулась на мохнатую гостью с двумя медвежатами.

Было там у меня любимое ущелье, очень тенистое и красиво заросшее над бурным ручьем; а в конце его была долинка, вся в сплошной заросли кизиля и ежевики, куда я часто наведывалась с корзинками, иногда с горничными, а то и одна собирать ягоды. А в ущелье я часто засиживалась с книгой, со своими разнообразными думами и мечтами, только менявшимися, но никогда меня не оставлявшими. Я назвала это местечко «vallée de rêves»[184] и, бывало, как меня нет, меня ищут, зовут: «Где же она? Где Верочка?» – кто-нибудь из людей почти всегда безошибочно отвечает: «Да уж где им быть, как не в “валидереве”!»

Они производили это название от *поваленных деревьев*, которых в моем укромном уголке

[184] «долиной грез» (*фр.*).

точно было немало, – они залетали в долинку с высокого глинистого обрыва, по которому колонисты спускали бревна первобытным способом: они рубили лес наверху, на горе, обрубали сучья, а стволы сбрасывали вниз, с обрыва, вместо того, чтобы везти их в объезд.

И напугалась же я в этом *валидереве* в одно прекрасное утро, собирая кизиль и ежевику, в сообществе моих бессменных адъютантов, как и я уже обращавшихся из подростков во взрослых девушек. Крепко напугались!

Дело в том, что я в цепкой чаще ежевичника потянулась за его высокими гроздьями, а меня вдруг осыпало сверху коралловым дождем кизилу.

– Кто там кизил трясет? – крикнула я. – Перестаньте!

Не тут-то было! Меня опять осыпали...

– Даша! Дуня!.. Не шалите! Ну, что вы глупости делаете?

– Да мы, барышня, не трясем! – послышалось мне совсем с другого края долинки.

И вдруг у меня под самыми ногами перевалился темный, мохнатый комочек, а из-за густой заросли раздалось не то хрюканье, не то рев...

Глянула я и обмерла! Передо мной вертелся крохотный медвежонок.

Как сорвалась я с места, бросив корзину и зонтик, как бросилась бежать на гору к колонии, только успев закричать: «Бегите!.. Дуняша, Даша! Медведь!» Как мне Бог силы и скорости дал – сама не знаю!.. Я опомнилась только тогда, когда взбежав по крутизне прямиком, куда никогда прежде не ходила, я упала, задыхаясь, на дорогу... Еще не владея языком, молча, указывала я колонисту, который проезжал с возом сена, на огромную медведицу с двумя медвежатами, лакомившуюся ягодами по другую сторону ежевичной заросли. Он схватился за ружье (колонисты всегда бывали вооружены в те времена), прицелился и выстрелил, но промахнулся. Медведица заревела, вероятно, чтобы созвать своих детенышей, и ее интересная семья пустилась трусить вдоль обрыва, тотчас же скрывшись в чаще кустарника.

Если б не эта непроницаемая цепкая чаща саженого ежевичника, обложившего и окутавшего все деревья своей колючей путаницей, – вряд ли удалось бы нам счастливо избежать когтей косолапой «Марьи Михайловны».

Родные смеялись надо мной, не доверяя нашим рассказам.

– Уж не опять ли такой медведь, как в нашей роще саратовской, тебе повстречался? – смеялись надо мной, намекая на происшествие моего раннего детства, когда я приняла дядю Ростислава за медведя.

Но я указывала на колониста и девочек, и их свидетельства убедили бабушку и Антонию, так что моим одиноким прогулкам был положен конец.

Через несколько дней после этого мы опять видели медведя. На сей раз мы возвращались вечером с прогулки с бабушкой, когда возле дороги в винограднике поднялся крик, шум, стрельба и мимо нас прошмыгнул мишка, гонимый толпой колонистов.

К счастью, медведи тамошние оказывались лакомыми, но трусливыми: ни разу не слышали мы о нападении их на людей.

Верстах в трех от Елизабетталя было замечательное дерево – чинар, который теперь свалился. Вокруг ствола этого великана было двадцать мужских шагов; под тенью его могло укрываться целое стадо; а в дупле, выдолбленном по приказанию одной глупой женщины, жены главнокомандующего барона Розена[185], приказывали иногда ставить ломберный стол и там садились вчетвером играть в карты. Из самого дерева, выдолбленного из чудного чинара, баронесса Розен[186] приказала сделать себе мебель.

Мы ездили раза два-три под чинар пить чай или обедать и всякий раз бранили госпожу Розен, с горестью замечая, как на этом вековом великане все больше и больше появлялось сухих листьев. Когда я, двадцать лет спустя, проезжала Елизабетталь, от бедного чинара не оставалось и половины; а теперь, говорят, от него только и уцелел богатырский остов ствола.

Мы жили сначала в трех колонистских домиках, сходясь обедать в самый большой, где жили

[185] Розен Григорий Владимирович (1782–1841) – военный деятель и администратор, командир Отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющий гражданской частью и пограничными делами Грузии, Армянской области, Астраханской губернии и Кавказской области (1831–1837).

[186] Розен Елизавета Дмитриевна (урожд. Зубова, 1790–1862) – жена Г.В.Розена.

дедушка и бабушка, а в третьей комнате была столовая. А когда в конце августа вернулись из Пятигорска все наши, так и еще принаняли домик или два.

С тетей Катей приехал новый член семьи: шестинедельный Борис Юльевич Витте[187], наш новый братец, появившийся на свет в Кисловодске. Белокурый, беленький, он напомнил всем нам покойного Андрюшу и сразу сделался всеобщим любимцем.

К концу нашего пребывания в Елизабеттале в окрестностях колонии начались такие разбои, что одно время совсем прекратились всякие сношения с Тифлисом. Посланные дедушки, которые обыкновенно два-три раза в неделю привозили ему из города бумаги и отвозили просмотренные им обратно в его канцелярию, то и дело возвращались с полпути ограбленные, израненные татарами, отымавшими у них лошадей и оружие и грозившими убить при малейшем сопротивлении. Были и убийства. Верстах в десяти, под самыми Коджорами (летнее место пребывания наместника и большей части служащих), убили бедного духанщика и еще какого-то проезжего армянина и, ограбив их, разумеется, бросили тела на дороге…

Все очень были перепуганы таким дерзким разбоем, тем более что и дать знать в Тифлис не было возможности: колонисты ни за что не брались ехать!..

При дедушке состоял один военный инженер, капитан Бекман. Он несколько раз собирал вооруженных колонистов, они делали разъезды, но никогда не попадались им грабители. Жители говорили, что это просто татары из окрестных деревень разбойничают, а совсем не какая-нибудь шайка. Оттого им и скрываться было легко: ночью ограбят кого-нибудь, а к утру сидят в своих саклях смирно, как добрые...

Ограбленным оттого было не легче!

Раз мы страшно все перепугались.

Сидели мы после обеда на балконе, – вдруг прибегают какие-то двое господ, израненные, бледные, едва прикрытые, очевидно, взятым у немцев чужим платьем; кричат, рассказывают что-то; просят помочь им... С трудом поняв, в чем дело, дедушка тотчас принял участие в них, расспросил. Оказалось, что один из них известный живописец Байков[188], которого князь Воронцов знал лично и нарочно выписал, чтоб он писал кавказские виды; а товарищ его – тоже всему Тифлису знакомый актер Иванов.

Они рассказали, что утром выехали верхом из Тифлиса в гости к знакомым на Белый Ключ; но, не доезжая двух верст до колонии, вдруг были окружены целой шайкой – человек в двадцать – вооруженных татар, которые их поранили, избили, отняли лошадей, все, что у них было багажу, и даже раздели их и разули, так что они почти голые, босые едва доплелись, истекая кровью... В первом же домике колонисты им дали кое-какое платье; услыхав, что они ограблены и думают идти за помощью к генералу Фадееву, они их сами и провели к дедушке.

Опять поднялся переполох! Собралось человек тридцать немцев под командой Ивана Иваныча Бекмана, – проездили в поисках всю ночь и день и опять никакого следа негодяев!.. Но только на этот раз Бекман с несколькими всадниками отправился в Тифлис сам с бумагами и письмами дедушки к начальству, и оттуда присланы были казаки; а с Белого Ключа привели целую роту солдат, которых разместили по дороге из Коджор в колонию.

Тогда разбои прекратились.

Мы недолго прожили после этого в Елизабеттале, а проехали на несколько дней в Екатериненфельд, другую очень богатую колонию, которая славится великолепными фруктами и красивым местоположением. Меня очень забавляло, что нас во всех колониях встречали со звоном колоколов, с хлебом-солью и речами пасторов и шульцев[189]. Разумеется, это делалось никак не для нас, а только в честь дедушки; он очень этого не любил и постоянно просил не делать, но с колонистами нельзя было справиться: они всегда узнавали заранее и приготовляли торжественные встречи. Дедушка сердился, а мы зато очень гордились и за него важничали. Дело в том, что мы имели действительное право им гордиться, потому что оказалось, что его совсем не по месту и должности так чествовали, а потому, что колонисты, в особенности Сарептские, дали знать чрез своих старшин местным шульцам и пасторам, что Андрей Михайлович Фадеев ими много лет

[187] Витте Борис Юльевич (1848–1902) – старший председатель одесской судебной палаты.
[188] Байков Федор Ильич (1818–1890) – художник и график.
[189] Шульц – староста.

управлял и что они никогда не знавали начальника справедливее и добрее его.

Вот почему закавказские колонисты так принимали его, доверяя своим далеким соотечественникам.

XVII
Новое жилище и важные события

Только что дедушка возвратился из поездки по краю, как нам пришлось переселяться на другую квартиру: князь Воронцов просил уступить дом Сумбатова приехавшему из Персии дяде тогдашнего персидского шаха.

История этого принца Бегмена Мирзы была целый роман или скорее драма. Шах, его племянник[190], за что-то рассердился и задумал ему выколоть глаза, а тот бросился к русскому посланнику в Тегеране, прося покровительства русского царя. Посланником был в то время в Персии двоюродный брат бабушки, князь Дмитрий Иванович Долгорукий[191]. Ему удалось скрыть принца, тихонько выпроводить его на границу, а потом уговорить шаха, – ради того, чтобы сделать удовольствие Государю Николаю Павловичу[192], – не отнимать у дяди его имущества, а переслать в Грузию и его жен и всю семью, и таким образом спасти принца и всех ему близких.

Явился принц в Тифлис с огромной свитой своих приближенных, и во всем городе не оказалось более подходящего для него помещения, как огромный дом Сумбатова, из которого должен был уйти и сам хозяин. Воронцовы и весь тифлисский «высокий свет» первое время носились с этими переселенцами из Персии ужасно!.. В их честь давались пиры. Для жен принцевых нарочно устраивались павильоны, из которых они, невидимые другими, могли любоваться танцами, фейерверками и прочими чудесами, никогда ими невиданными.

Ведь этих несчастных, также как и дочерей принца, держали взаперти, под семью замками и двенадцатью покрывалами! Никто не смел их видеть, и они ни на кого не смели смотреть. Вот была умора, когда этих жен возили в бани! Закупоривали их, бедных, в деревянные ящики с крепко запертыми дверцами и крохотным окошечком сверху; ящики прикрепляли к длинным дрожинам[193] с обоих боков и впрягали в них двух ослов – одного спереди, а другого сзади. Ослов подгоняли двое пеших и двое конных персиян-служителей, и такой процессией горемычные принцессы тешили весь народ на улицах Тифлиса по дороге в бани.

Своих небольших мальчишек-сыновей принц наряжал в генеральские русские мундиры и навешивал на них ордена всех стран. Все смеялись над этими странностями, но в особенности над его скупостью. О ней много ходило анекдотов. Так, например, рассказывали, будто бы он заставляет своих жен исполнять обязанности прачек, и кухарок, и поломоек, чтоб не нанимать работниц… Не знаю, правда ли, но князь Д.И.Долгорукий, когда приехал в Тифлис, смеясь, показывал бабушке, чем его наградил принц Бегмен Мирза за то, что он спас всю его семью и его самого от ослепления: он прислал ему в подарок две золотые пуговицы, стоившие ему не более двадцати или тридцати рублей...

Но Боже мой! Что сталось с прелестным домом бедного Сумбатова после двух лет, проведенных в нем персиянами[194]! Они совершенно разорили его! Перепачкали, поразбивали зеркала, стекла; посбивали лепные украшения, позолоту; поснимали все ручки; позабивали двери досками. Словом, разорили окончательно!.. Бедного хозяина даже не впускали во двор, обращенный в грязную конюшню. Садик его, на который он ничего не жалел, весь выкопали, вытоптали. Одним словом, довели беднягу, польстившегося на большую наемную плату, предложенную ему правительством, до такого отчаяния, что он захандрил, стал болеть и умер в том же году.

Всем было ужасно жаль его и бедную его семью.

---

[190] Насер ад-Дин Шах Каджар (1831–1896) – шах Ирана, правил с 17 сентября 1848 г.

[191] Долгоруков Дмитрий Иванович (1797–1867) – дипломат.

[192] Николай I (1796–1855) – император Всероссийский с 1825 г.

[193] Дроги – удлиненная повозка без кузова, передняя и задняя части которой соединены продольными брусьями.

[194] Принц потом переехал на жительство в Шушу, поближе к своему потерянному отечеству. – *Примечание В.П.Желиховской.*

Но нам в новом нашем помещении было гораздо лучше, чем в загородном замке Сумбатова. Дедушка нанял бывший дом князя Чавчавадзе, занимавший с своими флигелями чуть не целый квартал и тоже очень хороший, в самом центре нового города. Крыши всех строений этого квартала (принадлежавшего одному хозяину), выходившие на четыре улицы, соединялись с нашей громадной галереей мостиками и лестницами, так что, не выходя из дому, мы могли сделать отличную прогулку. Среди двора был садик с бассейном и множеством роз. В доме была большущая зала в два света, зеркальные окна (в то время, да еще за Кавказом, – великая редкость) и гостиная, оклеенная вместо обоев картинами с мифологическими сценами. Нам говорили, что эти обои были подарены старому князю Чавчавадзе (отцу Нины Александровны Грибоедовой)[195] кем-то из царской семьи; ими очень все любовались. Вообще весь дом был устроен по-барски.

В этом доме я прожила два года, а родные мои жили более пятнадцати лет до самой смерти бабушки, дедушки и дяди Юлия Федоровича и до отъезда семьи его в Одессу.

Первая зима прошла в нем для всех очень оживленно и шумно, особенно для Лели, веселившейся чрезвычайно. Только я по-прежнему часто горевала над Антонией, все хуже и чаще страдавшей, и больше проводила время с ней, чем в большом доме, вечно полном гостей.

В эту зиму сестра моя стала невестой. Это случилось так неожиданно, что все, начиная с меня, крайне удивились... Это не помешало мне, впрочем, принимать участие в оживлении и в разнообразных веселых хлопотах по этому случаю. Жених ее, Н.В.Блаватский, был вице-губернатором в Эривани[196], только что учрежденной новой губернии Закавказья.

Быть может, ради близости к Эривани, мы поехали на то лето в местечко Гергеры, очень красивое по местоположению, под огромной горой Безобдалом, с вершины которой уж видны были не только оба Арарата, Большой и Малый, но и громадное озеро Гокча[197], лежащее на очень высоком плоскогории недалеко от Эривани.

Мы поехали туда вперед с дедушкой, Антонией, Надей, дядей Ростиславом и тремя мальчиками[198], потому что Тифлис в мае месяце уж обратился в раскаленную печь. А бабушка, дядя Юлий Федорович, Леля и тетя Катя с новорожденным сыном Сергеем[199] должны были выехать недели через две. Гергеры, где нас приветливо встретил знакомый дедушки, артиллерийский полковник Воропаев, командир расположенной там батареи, нам очень понравились живописной местностью, прекрасными лесами, расположенными по высоким, но доступным холмам, переходящими далее в высокие горы. Мы расположились в довольно большом доме с огородами и садом, который мне лично показался раем после тифлисских жаров и пыли. Я на другой же день отправилась на рекогносцировку и возвратилась со снопом разнообразных цветов, между которыми бабушка впоследствии находила много видов, ей не попадавшихся прежде. Кавказская коллекция ее в Гергерах очень обогатилась.

Помню, как весело встретили приезд родных из Тифлиса. Их экипажи сопровождал оригинальный конвой, состоящий из двадцати наездников-курдов[200]. Узнав о женитьбе своего начальника Н.В.Блаватского (переименованного в вице-губернатора, но собственно давно служившего в их местах), эти воинственные наездники изъявили желание отдать честь его будущей *ханум* (жене) и приехали с ним навстречу к ней.

Курдов я еще до тех пор никогда не видывала. Эти черные энергические лица без бород, но с длинными вьющимися усами, с живыми блестящими глазами, так и бегавшими из-под черных бровей и высокой белой или пестрой чалмы, наверченной, словно голова сахару, – производили

---

[195] Чавчавадзе Александр Гарсеванович (1786–1846) – грузинский общественный деятель, поэт, генерал-лейтенант.

[196] Блаватский Никифор Васильевич (ок. 1807–?) – муж Е.П.Блаватской, статский советник (1856), Эриванский вице-губернатор (1849–1860), чиновник, причисленный к Главному управлению наместника Кавказского (1860–1864), в отставке с 1864 г.

[197] См., например: *Н.Б[лаватский].* Озеро Гокча. (Из воспоминаний о Закавказском крае) // Кавказ, 1861, №61, 6 августа; №62, 10 августа.

[198] А.М.Фадеев выехал из Тифлиса в Гергеры 21 июня 1849 г. (Кавказ, 1849, №26, 25 июня).

[199] Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – государственный деятель.

[200] Курды – очень воинственный кочевой народ неизвестного происхождения, отчасти мусульмане, но больше язычники. Они кочуют на границах Персии и Турции и в войнах с ними оказывали не раз русским войскам большие услуги. – *Примечание В.П.Желиховской.*

впечатление каких-то театрально-костюмированных разбойников. Они сидят на поджарых своих лошаденках, с виду невзрачных, но сильных и быстрых, как вихрь, какие-то сгорбленные, подобрав под себя ноги, в широких шальварах, вооруженные с головы до ног винтовками, кинжалами, ятаганами, а за спинами у них еще длиннейшие копья или пики, украшенные на концах большущим букетом черных страусовых перьев. Одеты они всегда в очень яркие, красные куртки, расшитые шелками и золотом; опоясаны широкими цветными кушаками; а из-под складок широких шальвар торчат башмаки с длинными, загнутыми вверх концами из зеленого или желтого сафьяна.

Этот живописный конвой лихо гарцевал – *джигитовал*, по местному выражению, – когда мы недели через две ехали в селение Джелалоглы (по-русски Каменку) на свадьбу сестры[201]. Так как в Гергерах церкви не было, то нам пришлось ехать за двадцать верст. В тот же день после обеда молодые уехали в Дарачичаг[202] – горное местопребывание всех эриванских служащих в летнее время. На гору Безобдал, по которой круто извивалась дорога, они въехали верхом. Кроме их оригинального конвоя, множество гостей, бывших на свадьбе, Воропаев, оба наши дяди, Надя и Леонид на дедушкиной рыжей *бače* (иноходце), очень смирной лошадке, поехали провожать их. Поехала бы и я, хорошо ездившая уже верхом в то время, но у меня болела сильно нога, а потому я стояла грустно на балконе и смотрела на удалявшихся всадников. Они долго были видны на бесконечных поворотах голой горы... Въехав на первый уступ, все остановились; Леля нам махала платком; курды приподняли свои мохнатые пики в знак прощания, некоторые выстрелили, и поезд[203] скрылся…

Я горько заплакала.

Особенной дружбы с сестрой у меня не было, – ей мешала разность лет и характеров наших, – но мы друг друга всегда горячо любили... Это была первая наша разлука, и разлука – капитальная!.. Она клала конец всей нашей прошлой общей жизни. Конец моему детству и отрочеству, конец всему, что было мне доныне близко, мило, что казалось неразрывным со мною!..

За несколько месяцев до того я была сильно огорчена известием о новой женитьбе своего отца; но разлука с сестрой меня еще сильнее опечалила.

XVIII
Мой шестнадцатый год

А теперь я должна рассказать о своем первом знакомстве *с разбойником*. Говорю *первом*, потому что впоследствии я познакомилась лично еще с другими... За Кавказом жить и не знать разбойников – в то время было невозможно.

У дедушки был переводчик, очень почтенный и богобоязненный татарин мирза[204] Абдалла. Дяди с ним ездили из Гергер на охоту в Борчалинскую степь; а там он их познакомил со своим кунаком, бывшим известным разбойником, – что ему не мешало в то же время быть «агаларом», то есть дворянином, помещиком, – Тоштамур-Агой. Мало того, Тоштамур даже числился на русской службе прапорщиком милиции.

Вот этот-то прапорщик-разбойник прикочевал со своими кибитками, женами, табунами и баранами в соседство Гергер и сейчас же надел красную чоху с эполетами и явился к дедушке просить нас к себе в гости всей семьей. Только при этом просил не забыть захватить с собою посуду и серебро, потому что татарские дворяне обходятся без них, накладывая обыкновенно кушанья горстью на *лаваши*, тонкие лепешки в аршин длины, которые заменяют тарелки и салфетки и на закуску съедаются сами.

Мы поехали большим обществом на линейках[205], в коляске и верхом. Полковник Воропаев с своей хорошенькой женой и несколько офицеров его тоже принимали участие в поездке. Место

---

[201] 7 июля 1849 г.

[202] См., например.: *Н.Б[лаватский]*. Дарачичаг // Кавказ, 1850, №61, 5 августа.

[203] процессия.

[204] Мирза у татар то, что у нас доктор или профессор – ученая степень. – *Примечание В.П.Желиховской.*

[205] Линейка – длинный открытый многоместный экипаж.

кочевья было очень красивое, в зеленой долине между гор, поросших лесом, на берегу ручья. Обедали мы в кибитках, на коврах, разостланных на земле, и во все время нас потешали туземные песенники и музыканты. Слепой *сазандар* (сазандары, т.е. певцы-солисты, обязательно должны быть слепы или, по крайней мере, изображать слепых, закатывая глаза так, что видны одни белки) бесконечно тянул свои рулады, аккомпанируя себе на заунывной балалайке. Он порядочно-таки надоел нам! Покончив с тридцатью сортами пловов со всевозможными приправами: с дичью, с говядиной, с шашлыком, с шафраном, с орехами, миндалем, персидскими сухими фруктами, со свежим кизилем и так далее без конца, ибо у кавказцев рис бессменное основание всякой еды, – мы пошли гулять; а возвратившись, были несказанно удивлены богатством и разнообразием увеселений, устроенных для нашей потехи Тоштамур-Агой.

Тут были местные музыканты, и скоморохи, и фокусники, и плясуны с гимнастами, и ученые персидские обезьяны, и джигитовка со стрельбой и конной борьбою наездников. Чего только не было!.. И откуда он всех этих артистов выписал? Бог его знает!.. Все это было очень занимательно для всех, но в особенности привело в восхищение Леонида и Сашу, веселого четырехлетнего сорванца, который тут же насмешил всю публику, пожелав подражать персиянину-акробату в хождении на руках, причем, разумеется, только повалился на бок и хохотал вместе со своим наперсником Лидой. Лида, впрочем, больше восторгался ловкостью девятилетнего сына Тоштамура, действительно поразительного мальчишки!

Он такие штуки проделывал на коне и так метко стрелял, что все дивились. На наших глазах он убил пулей парившего высоко орла; но в ласточек стрелять не соглашался, смеясь и вертя головой, и уверял, что в ласточку нельзя попасть, потому что это «святая птица».

Мирза объяснил нам, что многие мусульмане верят, будто ласточек посылают на тот свет извещать Магомета или Св. Георгия (Георгия Победоносца все магометане почитают) о кончине праведных людей на земле…

Эта поездка наша к Тоштамуру окончилась печально: лошадь дяди Ростислава понесла его; он, чтоб заставить ее остановиться, круто повернул ее на рыхлый косогор; она споткнулась, упала и навалилась всей своей тяжестью на ногу дяде, придавив ее и сильно поранив об азиатское широкое медное стремя...

Бедный дядя проболел более двух месяцев. Ему уже хотели отнимать совсем ногу, так что бабочка, бедная, ужасно плакала, и все мы за дядю Ростю перепугались; но, к счастию, все прошло благополучно и не оставило никаких следов.

В конце августа дедушка и все мы, – кроме дяди Ростислава, Антонии и наших четверых молодцов: Леонида, Саши, Бобы и Сережи, с их няньками и мамками, которые отправились прямо в Тифлис, – поехали в Дарачичаг и Эриван навестить Елену Петровну, чему я ужасно радовалась.

Пожив несколько дней на даче у Блаватского, мы вместе с ним и Лелей переехали в Эривань, где у них было прекрасное помещение в бывшем дворце ханов, отделанном заново. Не стану описывать эриванские мечети, сады, караван-сараи, розы, тополи, фрукты и вообще растительность, заставлявшую нас поневоле вспоминать сказки Шехеразады или волшебные сады Черномора, похитителя Людмилы[206]; вся прелесть их пропадает в описаниях, как бы живо ни вспоминались их красы.

Мы ездили и в Эчмиадзин. Нам там показывали все святыни, все богатства, весь дворец патриархов армянских, где угостили нас даже обедом на чудесном фарфоровом сервизе, в котором каждая тарелка и всякое блюдо были помечены *1685* годом. Это двухсотлетний сервис – подарок английского короля патриарху. Во все столетия все европейские государства, в особенности Италия и Англия, много дарили драгоценностей этому древнему храму, стоящему у подножия священной горы, давшей первый приют Ною с остатками спасенного от потопа человечества... Белые шапки обоих Араратов красуются, как два отдельных великана, среди плоскости, покрытой чудной зеленью, – совсем особо, будто без всякой связи с остальными горными цепями Кавказа.

Из Эривани мы возвратились в Тифлис на Гокчу[207] и через дивно красивое Дилижанское ущелье проехали в колонии Екатериненфельд, где по делам дедушкиным еще прожили целых три

[206] См. поэму А.С.Пушкина «Руслан и Людмила».

[207] Озеро Гокча с его берегами, Эривань и Эчмиадзин мною подробно описаны в рассказе: «Из тьмы к свету», изд[ательство] Девриена. – *Примечание В.П.Желиховской.*

недели.

В колонию мы попали в самое время сбора фруктов и винограда, и меня очень занимал процесс виноделия. Он был там тогда очень первобытен: виноград высыпали из корзин в огромные деревянные лохани, вместимостью на десять и более пудов; в лохань вспрыгивали мужчины и мальчишки прямо с земли, как стояли, с грязными ногами, и давай по нем прыгать и танцовать… Сок его обильно стекал по желобкам в чаны и кадушки, где потом «бродил», и в этом процессе брожения, уверяли нас, «выбрасывал все излишнее», то есть весь сор, навоз и грязь, которые должны были при таком способе выделки попадать в него.

Может, вино и очищается действительно при брожении; но я никак не могла, насмотревшись на приготовление его кавказскими колонистами, да и всем населением вообще, – пить его без гримасы отвращения.

В Екатериненфельде я получила письмо от Антонии, над которым много плакала. Она писала, что ей стало снова хуже, и в виду возможности смерти давала мне советы и наставления на будущее время...

Мы ее действительно застали опять очень больной, и эта зима для нее и для всех нас, горячо любивших ее, была очень мучительна. В начале апреля 1850 года она скончалась. Я потеряла в ней не только наставницу, научившую меня всему хорошему, с чем я входила в новую, мне предстоявшую жизнь, но вторую мать и самую преданную сестру, самого любящего и снисходительного друга, умевшего все прощать, все понимать и всем пользоваться на благо тех, кого она горячо, самоотверженно любила.

Ее похоронили на Верском кладбище, именно на том высоком обрыве над Курой, который всегда был у нас перед глазами в первую зиму нашего пребывания в Тифлисе. Вид оттуда был очень красив, и много раз, бывало, Антония, любуясь им, говорила:

– Когда я умру, похороните меня здесь.

Желание ее исполнилось.

XIX
В Нухе

Здесь, собственно, я могла бы закончить повесть о своем отрочестве. Как первая в моей жизни тяжкая потеря родной матери закончила мое раннее детство, так эта вторая смерть легла черной гранью между моим отрочеством и юностью. Две недели спустя по смерти Антонии наступил пятнадцатый год моего рождения. Я с утра ушла на ее могилу, всю ее убрала цветами и горячо молилась о том, чтоб она и оттуда мне помогала и руководила своими молитвами, как здесь руководила любовью. Тяжко и сиротливо чувствовала я себя тогда; печально и доныне вспоминается мне то время; а я не хотела бы в своих друзьях-читателях, с ними навсегда лично расставаясь, оставлять грустное чувство...

Лишь ради этого расскажу им еще несколько эпизодов из моего шестнадцатого года, более других достойных внимания.

Дядя Юлий Федорович, точно так же как и дедушка, которого он по службе был помощником, должен был очень часто ездить по краю, объезжая государственные поселения. В эту весну 1850 года ему надо было много ездить, а так как и тетя Катя почти всегда с ним уезжала, любя путешествия и не желая надолго расставаться с мужем, то в этот год, чтобы развлечь меня от тяжкого горевания по Антонии, они взяли и меня с собою. Зная мою горячую любовь к природе, они верно рассчитывали на успокоительное влияние переменной красивой местности.

Дядя ехал в Нуху, город на окраинах наших тогдашних владений на Кавказе, для осмотра тамошних шелковичных садов и заведений.

Эта местность славится шелководством и фруктами, а Нуха со своей крепостью и рассеянными по горе азиатскими постройками положительно утопает в богатой растительности. Среди громадных деревьев, разумеется, преобладают шелковичные; но и другие, в особенности тополи и грецкие орешники, необычайно великолепны. За Кавказом обыкновенно один великан-орешник, круглым шатром раскинув над саклею туземца свои могучие ветви с толстыми, глянцевитыми, темно-зелеными листьями, кормит и поит всю его семью: орехи – верный корм и

доход населения. Если же при орешнике есть еще тутовое дерево для выкармливания червей, доставляющих хозяйке возможность соткать несколько десятков аршин шелковой материи на продажу, – семья совсем обеспечена.

Мы прожили в Нухе целый месяц, остановившись не в городе, а под горой на шелкомотальной фабрике среди бесконечного виноградника и тутовых плантаций, огороженных высокими стенами, за которые, чуть скроется солнце, уж нельзя было выходить. Высокие горы, окружающие Нуху, тогда еще принадлежали врагам-лезгинам. Не проходило дня без грабежей, убийств, воровства и более или менее крупных схваток. Людей, в особенности детей и женщин, то и дело угоняли в плен. За черту города без сильного конвоя немыслимо было выехать; а едва смеркалось, запирались наглухо заставы, ворота, даже ставни в окошках, чтоб меткая пуля лезгина не избрала освещенного окна своей целью.

Уездный начальник Катин и Грисенко, управляющий шелкомотальной фабрикой, умоляли нас быть осторожными, не выходить из сада, не выезжать верхом на прогулки иначе, как с конвойными казаками и чапарами, и возвращаться засветло.

Но эти опасения меня, наоборот, только подстрекали. В ранней молодости во мне была положительно потребность тревог, сильных ощущений и отважных выходок: я не слушалась увещаний и не раз переступала заветные черты и уходила одна в поле, к подножию горы, в тени которой, на закате, синела бурная речка, выбегая из живописно-дикого ущелья. Бог хранил меня от несчастных встреч! Хотя я и не верила опасности, но она, несомненно, была велика.

А не верила я ей потому, что, бывая довольно часто в крепости и городском базаре, куда мы ходили смотреть знаменитые нухинские работы – вышивания шелками по сукну, и постоянно встречая там лезгин, я не могла себе представить, чтоб эти белокурые, голубоглазые, с виду невзрачные и добродушные люди были такими зверями, какими их описывали военные хроники.

Раз вечером Катин и городничий Орловский уехали в гости к дяде и рассказали о тревоге своей в то утро по случаю дерзкого нападения партии лезгин во время богослужения на похоронах одного богатого армянина. Из дома нашего было видно старое кладбище на горе, шатром возвышавшейся против балкона. За нею лежали вражьи аулы, а потому кладбище это почти забросили, так как туда подыматься было небезопасно. Тогда умер старый, очень богатый нухинский житель, армянин, завещавший своим наследникам похоронить его непременно на горе, где находилась семейная их гробница. Делать было нечего, человек с полсотни отправились за гробом; но только что подошли к могиле, как засвистали пули, и шайка грабителей заставила их разбежаться, бросив гроб и несколько человек убитых и раненых на разграбление и плен... Человек десять были ими захвачены и уведены в надежде богатого выкупа. Несмотря на энергические преследования, лезгин не настигли.

Я вышла на балкон и стала смотреть на эту гору, место трагического происшествия, любуясь ее красотой и дивясь, как же это я прежде не замечала ее?

– Какой оттуда должен быть великолепный вид! – предположила я, и гости наши подтвердили мое предположение, в один голос расписывая красоту местоположения.

– По ту сторону вся лезгинская цепь как на ладони! – говорили они. – Великолепная панорама во все стороны.

– А нельзя ли туда когда-нибудь взобраться?.. Днем, конечно!.. Целой кавалькадой под вашим покровительством и двойным конвоем, что ли? – предложила я.

Дядя только повернулся ко мне вопросительно, забыв о своих картах и ералаше, за который они только что присели, и, очевидно, выражая своим пристальным взглядом, что он испугался за мой рассудок. Тетя вскричала: «Ты с ума сошла», а городничий с уездным начальником просто засмеялись и осыпали меня уверениями, что это было бы безумно.

– Да ведь теперь лезгины, наверное, долго не посмеют туда сунуться! – настаивала я. – После такой дерзкой проделки они будут бояться... Теперь, наверное, никакой не было бы опасности...

– Ну, Бог их знает! – возразил, смеясь, Катин. – Они народ решительный... А в плен взять такую редкую добычу, как приезжую молодую барышню из Тифлиса, для них было бы очень привлекательно и выгодно!

Я замолчала, но не оставила мысли побывать там. Эта гора вдруг получила в глазах моих удивительную привлекательность. Несколько дней я обдумывала свой план и наконец-таки с

помощью переводчика дяди, татарина Мирзы, не знавшего, вероятно, об опасности прогулки к старому кладбищу, так как он был не здешний, – мне удалось исполнить свою прихоть. Я воспользовалась в одно утро отсутствием старших, уехавших в город, упросила Мирзу прокатиться со мною верхом будто бы тоже к ним в крепость, но по дороге неожиданно свернула на запретный путь и решительно вскачь пустилась в гору.

Разумеется, Мирзе ничего не оставалось более делать, как следовать за мной...

Я побывала на старом кладбище; полюбовалась величественной далью, окаймленной синей цепью гор с снеговыми макушками, блиставшими на ярко-голубом небе; с наслаждением подышала чудным воздухом гор, покрытых цветущими лесами, и возвратилась счастливая и страшно довольная.

Но мое довольство скоро помрачилось, ибо когда я за обедом заявила громогласно о своей проделке, то мне и бедному, ни в чем неповинному Мирзе воспоследовал такой генеральный разнос, какого мы с ним и не ожидали.

После этой выходки с меня глаз не спускали, так что мне даже трудно было одной ускользнуть в сад на мои излюбленные одинокие прогулки.

XX
Последние дни на Кавказе

Лето мы провели в Приюте[208], куда уже уехали все наши, когда мы вернулись из Нухи.

Здесь не нашлось дома для помещения всех нас вместе, и жили мы в нескольких отдельных домиках, сходясь к обеду в большую, так называемую «сборную избу», где была столовая и жил дедушка. Я, разумеется, жила в одном доме с бабушкой, по-прежнему пользуясь ее безграничною любовью, даже больше, чем прежде, потому что бабочка понимала, что̀ я потеряла со смертью Антонии, и молча старалась восполнить этот великий недочет моей жизни. Теперь, кроме моего брата, у нее еще было трое внуков, и на всех хватало ее забот и нужной предусмотрительности в ее многолюбивом сердце.

Я теперь пользовалась почти безотчетной свободой действий. Занималась, когда и чем хотела, но больше гуляла пешком и верхом, иногда в сопровождении Мирзы, казака или кого-нибудь из людей, а часто и совсем одна. Одинокие прогулки я любила до страсти. Я так хорошо познакомилась с близкими и дальними окрестностями Приюта, что могла бы служить проводником по всем его фруктовым рощам и лесам, по диким ущельям и скалам и горам его необыкновенно разнообразных окрестностей.

Мои странствия продолжались почти все лето свободно; но тут как раз произошел переполох по случаю свершившегося неподалеку от Приюта убийства с грабежом, и мне пришлось их прекратить. Разбои были вещь обыкновенная в то время по всему Закавказью; но я при сем удобном случае сумела совсем необыкновенно отличиться: я прикормила одного из бродяг-грабителей. Разумеется, не зная, что забочусь о разбойнике, я принесла ему собственноручно обед, принимая его за нищего... Я натолкнулась на этого оборванца очень близко от дома, в грушевой роще, где обыкновенно мальчики играли под чьим-либо присмотром, как в собственном саду. На тот раз я там сидела одна с книгой, захватив с собой завтрак, так как мне не хотелось возвращаться ранее обеда. Вдруг я заметила, что на меня или, вернее, на хлеб мой жадно смотрит пара блестящих глаз… Пораженная выражением муки и безмолвной мольбы в этом бледном лице неведомого мне проходимца, я сейчас же отдала ему свой завтрак. Мало того: я предложила ему подождать, побежала в столовую нашу и возвратилась с куском пирога и чуть не с целым караваем хлеба, которые тот, выскочив из чащи, где он, очевидно, прятался, жадно схватил и был таков[209]…

Дня через два после этой встрече пропало ружье у одного нашего знакомого, а еще через несколько дней под самым Приютом убили и ограбили муллу; а его спутник, весь израненный, едва дотащился до поселения, вопия о помощи. Дядя Ростислав с двумя господами, случайно у нас обедавшими, сейчас же сели на лошадей, взяли чапаров и казаков и отправились на розыски

[208] Приют – военное поселение под Тифлисом.

[209] Это происшествие подробно описано мною в рассказе «Мамед-Селим», потому я и не хочу здесь повторять все подробности этого замечательного происшествия. – *Примечание В.П.Желиховской.*

грабителей. В числе их был, как думали, только что убежавший из тифлисской тюрьмы горец Мамед-Селим, вероятно, мой знакомец, потому что, когда я его угощала, на нем не было ни оружия, ни даже платья, а какие-то лохмотья, каких горцы никогда не носят. Один из разбойников, преследуемый казаками, думал уйти, спустившись в страшную пропасть, верстах в двух от Приюта, называемую Пропалой-Балкой, но раненый в руку не удержался, сорвался и убился на глазах своих преследователей. По многим приметам это и был мой приятель.

В ту же осень мы поехали в Кутаис в гости к дядину брату, Александру Федоровичу Витте, и пробыли целый месяц в благословенной Имеретии. Я говорю «благословенной», потому что этот край даже в Грузии славится своей живописностью и необыкновенным богатством флоры. В мире не может быть более красивых видов, более замечательных чудных цветов и более красивого народа, чем на берегах Риона. Я за последние три-четыре года насмотрелась на много чудес природы; но таких волшебных декораций, таких интересных мест, такой сказочной растительности, вьющихся по чаще деревьев в диких лесах плющей и винограду вперемежку с жасмином и розами гигантами, – я нигде не видывала! Несмотря на то, что мы были в Кутаисе и его окрестностях глубокой осенью, что по вершинам гор выпадал снег, тем не менее, все цвело и благоухало. Я помню одно утро в начале октября. Мы были в имении бывшего французского консула m-r Gambo[210], дом которого весь утопал во вьющейся зелени. Ночью выпал шуточный снег, без мороза, конечно. И какая это прелесть была, когда я утром встала и подошла к окну!.. Кусты громадных роз всех оттенков, пышно покрытых цветами и посыпанных белым пухом... К полудню, разумеется, зимы и следа не осталось, разве наверху, на облачных вершинах. Внизу опять сияло в полном блеске вечное лето под бирюзовым покровом неба.

Что говорить! Величественный и чудно красивый край Закавказье!.. Недаром, когда год спустя пришлось мне его оставить, он снился мне каждую ночь, и долго не могла я привыкнуть к бедной природе России.

Лето [18]51 г. мы провели в военном поселении Белый Ключ, где стоял Грузинский гренадерский полк, которым командовал князь Илья Дмитриевич Орбелиани[211]. Он предложил дедушке остановиться у него в полковом доме; но бабушка не захотела этого, боясь стеснений, и мы опять поместились в двух отдельных домах. Это было по многому, в особенности для меня лично, замечательное лето: первое лето моего девичьего веселья и последнего пребывания в Закавказье. Я веселилась до упаду. Танцы, кавалькады, пикники, любительские спектакли чередовались без перерыва. Окрестности Белаго Ключа великолепны, полны интересных развалин и величественных видов. Одним словом, все в тот год соединилось, чтобы оставить во мне самое яркое воспоминание о крае и людях, которых мне предстояло покинуть на несколько лет, – я даже думала тогда, что навсегда!

Дело в том, что бедный отец наш, весь век прожив в одиночестве и вновь овдовев через год после своей вторичной женитьбы, тосковал ужасно, тяготясь своей сиротливой старостью, и горячо призывал меня к нему приехать и поселиться с ним. Я была теперь взрослая девушка; я сознавала, что это моя прямая обязанность, и согласилась.

В августе Юлий Федорович должен был по службе ехать в Россию, командированный делегатом Кавказа на открывавшуюся в Москве выставку. С ним собиралась и тетя, и Леонида они везли с собою с тем, чтоб его поместить в учебное заведение. Ему уж было двенадцать лет; последние два-три года он учился в пансионе Гаке, лучшем в Тифлисе, но все же не совсем удовлетворительном: в то время еще не было на Кавказе хороших учебных заведений. Теперь и я присоединялась к уезжавшим... Бабушка сначала ни за что не хотела согласиться на разлуку со мной, но уступила очевидной необходимости. Она никогда не отступала пред долгом и мне, вместе с Антонией, она внушила свое правило: «Fais ce que dois – advienne que pourra!»[212]

Напоследок еще я была свидетельницей необыкновенного явления природы в самой красивой и величественной обстановке его: я говорю о *полном* затмении солнца 1851 года[213],

---

[210] Гамба Жак Франсуа (Gamba, 1763–1833) – французский дипломат, консул в Тифлисе, путешественник, предприниматель и писатель.

[211] Джамбакуриан-Орбелиани Илико Зурабович (1818–1853) – генерал-майор.

[212] «Делай, что должно, и будь, что будет!» (*фр.*).

[213] 28 июля 1851 г. (по новому стилю).

которым мы любовались с вершины высочайшей горы в окрестностях Белого Ключа.

Затмение это было 16 июля в седьмом часу вечера. Мы все огромной кавалькадой, верхом и на линейках, отправились на гору *Гомер* с полковым командиром и всеми наличными офицерами во главе. С вершины Гомера видны были чудные, разнообразные окрестности на сотни верст кругом; но в этот раз никто не любовался горами, долами и темными ущельями с бушевавшими потоками, дикими лесами и светлой равниной, перерезанной плавными изворотами далекой Куры: все смотрели вверх на ясное небо, на яркое солнце... Многим приходило на ум: «А что как *ничего* не будет?.. Солнце зайдет во всем великолепии, предоставляя нам ждать до завтра его появления с другой стороны?!»

Вдруг кто-то торжественно воскликнул:

– Есть!.. Начинается!.. Смотрите! Видите черный краешек?.. Видите: будто кто отбил от солнца кусочек?

И все засуетились, заговорили, друг другу указывая, глядя в подзорные трубы, в лорнеты и бинокли, разумеется, с заранее закопченными стеклами, а большинство – в простые осколки стекол.

Помню, что у меня, как, вероятно, у многих, в эти торжественные минуты сердце замирало и билось учащенней... Какой-то гнет недоумения и невольных опасений ложился всем на душу. Многие были уверены, что затмением дело не ограничится: ждали землетрясения и всяких явлений.

Через несколько минут черное, плотное пятно доползло уже до середины солнечного диска; заметно стемнело, но каким-то странным, фиолетовым сумраком; а на востоке между тем полосою вспыхнуло темно-оранжевое зарево, будто там загорался весь горизонт.

Вот от солнышка остался лишь яркий краешек, словно кроваво-огненный молодой месяц выступил рожками вниз над темно-бурым диском, затмившим светило дня... Зрелище было поразительное!

Кругом все притихли, почему-то лишь шепотом изредка переговариваясь отрывочными восклицаниями.

– Какое удивительное освещение!

– Какое величие!.. Даже страшно, право!

– А приглядитесь, прислушайтесь, что творится кругом!

И в самом деле: на небе и земле поднялась тревога. В кустах сбитые с толку птицы пищали, шуршали, метались как угорелые, ища ночлега. Собаки, прибежавшие с нами, тоскливо метались и слегка подвывали, жалобно засматривая в глаза своим хозяевам. Снизу из поселения слышалось мычание, блеяние, лай, и рев, и шум, и гогот необычайные. Даже наши лошади необыкновенно беспокоились, ржали и фыркали, испуганно озираясь.

В шесть часов пятьдесят минут луна слилась окончательно с солнцем – потух его последний луч...

Все потонуло в сине-зеленоватой мгле, кверху переходившей в лиловый полусвет, сквозь который таинственно светились звезды; а на востоке все же преобладал мутно-красноватый зловещий отсвет.

Я посмотрела на окружающих. Недоумение и беспокойный вопрос застыли на всех лицах, казавшихся от этого мрачного освещения мертвенно-бледными, оливковыми или бурыми, словно у выходцев с того света.

В этой торжественной минуте было удручающее величие.

После нам рассказывали, что в деревнях большинство народа, особенно женщины, бросались в церкви, уверенные, что настало преставление света. Все громко рыдали, молились, исповедуя грехи и каясь; все зажигали пред иконами свечи в несомненном ожидании кончины мира или, по меньшей мере, величайших бедствий.

Минута тянулась бесконечно!

Но вот, наконец-то, снизу темного диска стало светлеть... Вот что-то блеснуло... Странные краски, лежавшие на всем, будто начали таять, серебриться, как в пору раннего рассвета. Только этот рассвет шел не с востока, а с вершины неба, будто кто там зажигал все ярче разгоравшуюся лампадку...

Тяжесть снималась со всех сердец… Все переглядывались, невольно улыбаясь, чувствуя, что гнет, лежавший на всем живом, отходит, и по мере того, как солнце освобождалось от обуявшей его было черной немочи, как ярче сияли его победоносно вырывавшиеся лучи – и языки развязывались у нас всех и веселие озаряло все лица.

Даже птицы вновь защебетали и запели в лесах. Всюду все радостно оживало, словно возрождаясь к новой жизни.

Это была чудная минута, которой я во всю жизнь не забыла.

Ею должна я и закончить свои воспоминания.

Вскоре после того мы уехали в Москву. Отец встретил меня там, и вместо того чтобы возвратиться в родную семью своей матери, я поехала жить с ним в Литву[214], где он тогда служил. Разумеется, я сильно тосковала первое время. Я привыкла к жизни полной разнообразия в кругу многочисленных, горячо любимых мною родных и друзей, и потому однообразная, одинокая жизнь с отцом порой бывала мне невыносимо тяжела. Но во мне скоро возродилась привязанность к нему... Мысль, что мое присутствие его радует, что оно для него необходимо и дорого, облегчала мне исполнение моих новых обязанностей… Я часто вспоминала слова Антонии:

– Внешнее, случайное счастие – переменчиво! Но есть счастие истинное, верное, которое зависит вполне от самого человека: это счастие заключается *в исполнении долга*!.. Оно не может никогда изменить нам; в жизни и при смерти сознание исполненных честно обязанностей – великое благо!

Эти слова, внушенные мне с детства, я всегда старалась, по мере сил, прилагать ко всем трудностям жизни и в старости ныне убедилась в их святой и совершенной истине.

[214] В Гродно.